

Юзеф Игнаций
Крашевский

Варшава в 1794



Юзеф Крашевский

Варшава в 1794 году (сборник)

Издательский дом "Ромм и сыновья"

1873, 1881

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю. И.

Варшава в 1794 году (сборник) / Ю. И. Крашевский —
Издательский дом "Ромм и сыновья", 1873, 1881

ISBN 978-5-00039-218-8

В историческом романе «Варшава в 1794 году» автор обращается к эпохе восстания Костюшки. Главный герой романа, капитан Сируц, он же рассказчик и участник восстания, день за днём описывает события 1794 года, такими, какими они были в Варшаве. Также немалое место занимает любовь. Роман «Елита» является 13 романом из исторической серии Крашевского «История Польши». Он рассказывает о последних годах правления Владислава Локотка, о предательстве Наленчей и битве с крестоносцами при Пловцах.

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-00039-218-8

© Крашевский Ю. И., 1873, 1881
© Издательский дом "Ромм и
сыновья", 1873, 1881

Содержание

Варшава в 1794 году	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Юзеф Крашевский

Варшава в 1794 году

Сборник

Józef Ignacy Kraszewski
Warszawa 1794
Jelita

© Бобров А. С., 2016

* * *

Варшава в 1794 году

*Брониславу Залескому, как дружескую весточку, посылает
автор.*

11 марта 1873 года

Sunt lachrymae rerum¹...

Есть в жизни народов минуты горячки и пробуждения, которые, несмотря на их последствия (ибо те бывают самые разные), сами вливают новые силы во всё общество, вдохновляют её власти, спаивают и сближают людей и на долгие годы оставляют после себя не только память пережитых дней, но, как бы запах чувств, которыми расцветали.

Часто после них наступают часы покаяния и терпения, усталости и изнурения, но, несмотря на это, как электрической искрой, даже среди этого состояния оказывает воздействие напоминание о прошлом. В истории нашей страны таких ясных минут напряжения, пробуждения, поднятия духа мы насчитываем в последнем столетии несколько. Эпоха Четырёхлетнего сейма, восстание Костюшки, короткий первый момент возрождения Королевства, годы 1812, 1830 и 1863 принадлежат к ним. Каждый из этих моментов имел соответствующий себе характер, но все вместе взятые братскими чертами были похожими друг на друга. Люди в это время, словно какой-то не своей силой, зачерпнутой из тайного источника, менялись, росли, набирали силы, становились благородными и в их жизни потом пережитый год также оставался вечной звездой, к которой все думали возвратиться.

Кто же из нас не знал этих людей, переживших бои прошлого, ходящих потом, как чужаки, среди не своего мира и живущих одним часом, в котором сосредоточилась их жизнь? Помню, было это в счастливые дни молодости, я познакомился в деревне в одном из родственных с нами домов с паном капитаном Сируцом. Был он, по всей видимости, далёким каким-то кузеном самой пани дома и, по этому титулу называемый ею дядюшкой, проживал на Литве у семьи Б.

Был это вид резидента, но титул родственника и уважение, какие к нему все имели, досадное это положение делали сносным. Капитан Сируц очень неохотно показывался в обществе, особенно, когда в доме были гости; оттого, что дом всегда ими изобиловал, редко его можно было убедить пойти в гостиную. Он занимал пару комнат во флигеле, имел тип маленького своего хозяйства, мальчика для прислуживания, лошадь и возок, и в доме почти как гость выглядел.

Имея маленький капитал, он не нуждался ни в какой настоящей милости, потому что мог им поддерживаться, но в городке не рад был жить, любил тишину и одиночество; тут он был паном своего времени и любил семейство Б, поэтому согласился на жертву пары покоев во флигеле. Нелегко, однако, по-видимому, к этому сразу пришло и должно было позволить ему испробовать эту жизнь, прежде чем с ней освоился. Капитан боялся всякого вида неволи, подданства, прислуживания, боялся быть смешным резидентом, ещё больше стать кому-то в тягость и, только лишь очень сильно убедив себя, что ему тут будет хорошо и людям с ним не хуже, осел в Вежбовнах.

Такого молчаливого человека мне не случалось в жизни встречать... он был скупым на слова даже до смешного, а иногда на протяжении целых дней едва кто от него пару невнятных слов, сказанных потихоньку, услышит.

¹ Есть слёзы для бед (лат.) Из «Энеиды» Вергилия.

Внешность была приличной и милой... На первый взгляд он выглядел на старого военного, обученного в хорошей школе. В пожилом уже возрасте, он держался просто, ходил мерным шагом, хотя не без некоторого изящества в движениях, одевался чрезвычайно старательно и чисто, почти элегантно, и лицо имел серьёзное, сердечное, милое и полное сладости, какое редко на старость после жизни остаётся. Кроме выражения некоторой застенчивости и боязни, когда он находился в многочисленном обществе, никогда ничего не отражалось на лице старого вояки, за исключения какой-то тоскливой задумчивости...

Достаточно любил читать, особенно исторические вещи, но читал медленно, внимательно и когда ему книжка с первых страниц не нравилась, предпочитал уж вовсе её не читать, чем принуждать себя.

Впрочем, никаких особенных пристрастий и привычек не имел – иногда охотился, но не распалялся к охоте, играл, не скучая, за игрой, выезжал верхом без страсти к лошадям. Человек, по-видимому, безразличный и выжитый, хотя это ему сердца не отнимало к людям и любви к ним.

Привязывался к нему каждый, кто дольше с ним побыл. Он со своей стороны не навязывался никому, не склонный был к фамильярности, на вид холодный, но когда однажды к кому-то пристал, хотя словами ему не показывал приязни, чувствовалось, что сердце было ей полно. В Вежбовнах уже научились так приспособливаться к его привычкам, что оставили ему как можно большую свободу. Капитан приходил, когда хотел, уходил, когда ему нравилось, выезжал, возвращался и иногда целыми неделями, хотя был в доме, не показывался во дворе. Он имел на протяжении года несколько таких приступов какой-то меланхолии, в силу которой он бежал от людей...

Обычно в близкой среде и когда из него не вытягивали слово, потому что это был самый худший способ узнать у него чего-либо, тогда сам потихоньку говорил, рассказывал таким образом очень милые приключения из своей жизни и службы. Знал он очень многих людей, был в хороших отношениях с самыми выдающимися, и из сношений с ними остались воспоминания гораздо более яркие, чему у других. Схватывал, видно, сторону жизни и физиономию более истинно и глубже умел вникнуть в характеры. Но эти его признания вполголоса были редкими, осторожными, боязливыми и любое наименьшее препятствие, дисгармоничная нота, неловко вставленное слово... замыкало его уста.

Тогда также, когда капитан начинал говорить, все молчали... боялись дышать и слуги научились ходить на цыпочках.

Проживавший в Вежбовнах, привязался он тут и к старикам и к детям. Особенно их любил... и нас, которые в то время подрастали.

Молодёжь была для него, как бы предметом интересных лекций, приводимых, видимо, с некоторой целью и мыслью, потому что особенно обращал внимание на её чувства, на слова, которые выявить могли живущую память прошлого страны и обязанностей к ней.

За исключением этих чрезвычайных минут возбуждения, редкого разговора и улыбки, Сируц проводил жизнь одиноко, замкнуто, спокойно и, был обращён больше к прошлому, нежели к современности...

Маленькая кучка людей заманивала его иногда в усадьбу, от особенно шумной толпы он убегал. В дни именин, в масленицы, в кануны праздников, попрощавшись с хозяевами, он выезжал куда-нибудь в околицу и не возвращался пока не успокаивалось.

Добиться от него что-то, когда не имел охоты рассказывать, было невозможным...

На вопросы отвечал он пожатием плеч, странным складыванием губ и, наконец, поспешным бегством с плаца.

Я имел к нему достаточно удачи, однако никогда его ни о чём не спрашивал, несмотря на горячее любопытство... Мы вместе ходили в молчании на прогулки, собирали цветы, смотрели, сидя в лесу, на поваленных брёвнах, в зелёные гущи, за которой заходящее солнце

ярко проблёскивало, и возвращались в усадёбку иногда после двух часов медитации, разговаривая немного живей.

Капитан говорил (когда на то пошло) с подбором некоторых слов, неторопливо, обдумывая, тихо, и следя, какое производил впечатление.

Как к иным вещам, так и к рюмке Сируц не имел пристрастия, не отказывался ни от водки перед обедом, ни от небольшого количества хорошего вина – пьянка же вызывала у него невыразимое отвращение. Однако же, когда вечером в маленьком кругу подавали бутылку старого венгерского вина и маленькие к ней напёрстки, а любители этого напитка, соп атоге, медленно смаковали его, наслаждаясь им, Сируц охотно удерживал плац и... в это время уста его развязывались, приходили даже весёлость и остроумие. А на утро возвращался к своей сумрачности и, словно стыдился вчерашней откровенности, был грустный и понурый. Уж мне этого припоминать не годилось.

Все его воспоминания обычно относились к одной эпохе – впрочем, жизнь уже как бы не существовала, была забыта и заслонена – если говорил, то только о костюшковской... Мы знали, что этот год 1794 он прожил между Варшавой и лагерем – для него это было светлое время, единственное время, в которое исчерпал всё, что может дать жизнь. С резнёй Праги закончилась для него эта жизнь и начались размышления и покаяния... Год этот он имел в памяти день за днём, час за часом...

Но также, кроме судьбы солдата и страны, в этот год, по всей видимости, разрешилась судьбы его сердца и надежды на счастье.

На протяжении довольно долгого отрезка времени я видел Сируца каждые несколько месяцев. Он ничуть не изменился, не постарел, выглядел так, что уже казался какой-то хорошей мумией, засушенной навсегда. У меня было время окончить школу и приступить к учёбе в университете... мы были теперь с ним в наилучших отношениях. В году 1829, едучи в Вильно, я на пару дней заехал в Вежбовны... Там как раз нашлось несколько особ, но из ближайшего нашего кружка... Второго вечера... хозяин приказал принести после ужина заплесневелую бутылку венгерского вина... началась при ней чрезвычайно оживлённая беседа.

Сируц был в этот день в расположении, в каком я его ещё не видел, улыбался, трубку за трубкой брал, остроумничал и имел соответствующий себе образ подшучивания, из тишины стрелял, как из-за забора, шуткой, и умолкал.

Сам он никогда не смеялся, пожалуй, принимал мину человека, как бы чрезмерно беспокойного. Хладнокровно шутили над влюблённым паном Павлом, даже пан Сируц помогал.

– А! Мне это странно, что вы надо мной шутите, пане капитан, – воскликнул Павел, – такой сухарик, что никогда в жизни не улыбнулся женщине и в глаза ей не смотрел, которому также ни одна женщина никогда не улыбнулась, кто не знает любви, разве что по слухам...

Сируц открыл рот.

– Вы так думаете? – спросил он.

– Не иначе, – капитан замолчал и выпил.

Только после полуночи отозвалось в нём то, что ему нанесли – словно не был человеком, и мы обязаны этому чрезвычайному раздражению, что он рассказал нам свою историю под самым строжайшем заверением сохранения её в тайне... Но, но капитан Сируц давно уж не живёт...

Позднее я имел ловкость из других источников дополнить то, что он мне о себе рассказал – и из этого получилась следующая повесть... полностью историческая.

* * *

– Я родился, – говорил капитан, – в памятный год первого раздела Польши...

Могу сказать, что от колыбели жил я тем стоном, который издавало совершаемое насилие. Быть может, что в иных кругах быстро освоились с несчастной долей страны, в бедных шляхетских усадьбах в Литве память этого вторжения и позорного Гроднеского сейма, узаконившего разделы, жила постоянно, пробуждая возмущение, горе, желание возмездия... Мои родители имели маленькую деревеньку в Лидском, в которой нас было двое, сестра и я, и довольно долгов в придачу. Счастьем для меня, из прошлого достались нам родственные связи и много богатых родственников, а в эти времена обязанности крови были понимаемы совсем иначе. Сейчас порвались эти узы, не обходящие никого, тогда не решался бы самый холодный человек показать безразличие к обедневшему родственнику.

В этом нашем шляхетском свете, который в стольких изъяснах можно упрекнуть, понятие солидарности всего тела было ещё сильно и нерушимо. Вся шляхта была одной семьёй, крепко связанной тысячью узлов крови и связей.

Смело можно сказать, что не было двух шляхетских семей, которые бы очень далёкого между собой родства вывести не могли. Поэтому шляхтич, едуци хотя бы от Балты до Гнезна, не нуждался нигде в гостинице, заезжал непосредственно на двор пана брата, а где не находилось шляхтича, сворачивал в монастырь либо в дом приходского священника. И было неслыханной вещью, чтобы перед ним где-нибудь закрыли двери. Лет двадцать назад можно было родственников не видеть, почти их не знать; если пришла необходимость к ним обратиться, шляхтич запрягал в калымажку кобылу и ехал прямо в особняк, в уверенности, что его оттуда не выпихнут. Селили его там часто в сером конце, это правда, но родственник его обнимал и делал что мог, чтобы достойная кровь не пропадала.

Мой отец родился от Несиловской, а семья это была могущественная и сенаторская...

Мы знали, что между живущим паном воеводой и нами есть близкие родственные отношения и, хотя мы никогда в жизни его не видели, когда было мне уже время выбираться из дома для учёбы, отец в действительности колебался ехать в Вильно, но написал письмо к пану воеводе, честно и откровенно ему свидетельствуя, что мне образования, какого бы желал, дать не может, поэтому склоняется к его милости.

Мы ждали ответа, по причине которого покойная мать молилась каждый день.

Прошло несколько недель, что в те времена вовсе не было удивительным, потому что и почты ходили вяло и люди писать не очень любили. Также оказалось, что письмо отца пана воеводу в Вильне не застало.

Наконец пришёл ответ с большой печатью. Я хорошо помню, что отец положил его на столе, не очень спеша распечатывать, а мать потихоньку не соглашалась со Здровацким.

Когда дошло до чтения, оказалось гораздо лучше, чем мы могли ожидать.

Письмо было сердечное, нежное, добродушное, воевода радовался, что молодой Сируц с его сыном почти того же возраста может воспитываться...

Радость была в доме великая, но и хлопот не меньше, так как, отправляя в Вильно, надлежало дать приличное одежку. Портной, сапожник, швеи имели много работы. Когда всё было готово, получив благословение матери, горько поплавав, сел я с отцом в бричку и поехали мы в Вильно. Моё сердце билось от страха... из глаз текли слёзы... я не много видел и слышал, что делалось вокруг меня, когда отец привёл в покои пана воеводы – но всё это прошло быстро, когда я услышал мягкий голос старого Несиловского и почувствовал в моей ладони дружескую руку его сына, приветствовавшего меня как неизвестного брата. Не знаю, были ли они высокомерными с другими, но верно то, что ко мне оказались наилучшими на свете. В этом доме я нашёл родительскую заботу и сердечность. Мой отец заплакал от радости и благодарности. На меня не произвело это, может, такого впечатления, как на него, ибо, как ребёнок, представлял я себе мир в ярких красках, он знал его лучше и удивился, найдя его лучше, чем мечтал... Дом Несиловского также был счастливым исключением.

Панские шляхетские дворы столько раз уже описывали, что их по этим традициям знают все; воеводы также был подобен многим другим. В нём господствовал польский элемент, смешанный с французским. Первый ему давал благородную основу, другой – европейское поведение и формы. Воевода одевался ещё по-польски, но отлично говорил по-французски и манеры имел людей высшего общества. Сама пани, главным образом, эту французизму прививала и поддерживала. Поэтому и сын был воспитан наполовину французом, наполовину поляком.

Того же дня взяли меня на экзамен и оказалось, что моя пиярская французизма так была смешна, что её нужно было вырвать с корнем и на её месте посадить новую. Тогда я воспитывался с паном Юлианом, догнав его в науке и, как он, готовясь к военному поприщу. Между нами была только та разница, что он планировал ещё путешествовать по Европе и задержаться на более долгое время в Страсбурге, а я по воле отца немедленно должен был вступить в войско. Пан Юлиан, с которым мы были в наилучших дружеских отношениях, очень тянул меня в это путешествие за собой, писал, по-видимому, моему отцу, чтобы он разрешил, всё же, оказалось, отец велел мне благодарить и ехать в Варшаву.

С рекомендательным письмом от воеводы оказался я в полку Дзялынкого, стоявшего в то время в столице. Я прибыл туда в наигрустнейшую пору, когда в честной, но напрасной борьбе король должен был присоединиться к Тарговице...

Я не мог сравнить состояние тогдашней столицы с праздничной её внешностью во времена Четырёхлетнего сейма, но меня чрезвычайно привлекли грусть и замешательство на всех лицах... отчаяние, сетования и яростное разделение народа на два, в самой заядлой неприязни друг другу, лагеря.

Те, что были в Варшаве самыми горячими патриотами до этой поры, на новость о присоединении короля к Тарговице, уходили с проклятиями и гневом за границу. Партия якобы республиканцев, которые на вид собирались защищать бывшую свободу и права, с фанатизмом хватали власть, используя её для самого жестокого преследования. Москальи, от которых на протяжении несколько лет Польша отвыкла, с издевательством, гордостью, насмешкой, угрозами снова пришли в столицу. Их приверженцы, одетые в русские мундиры, покрытые орденами, окружённые иностранными стражами превосходили всех на улицах.

Оттого, что хотели частично распускать, реорганизовать и уменьшить войско, трудно было даже попасть в него и я скорее случайно очутился на службе, чем был принят в неё. Это произошло потихоньку, за большие деньги и с немалыми трудностями.

Никогда, может быть, в действительности партия-победитель не обходилась более жестоко с ранеными на поле боя соотечественниками, как тарговичане со страной, над которой по милости русских войск установили контроль, начиная с короля, которого поили желчью и отобрали у него всякую власть, даже до последнего солдата, дали почувствовать всем, что Коссаковский и Потоцкий имеют за собой поддержку императрицы Екатерины.

Я мало мог в те времена обдумать и обсудить, но даже меня поразило это немилосердное обхождение со страной.

Во имя свободы царил в мире самый жестокий деспотизм.

Никто не удивится, когда я признаюсь, что, в то время двадцатилетний, в первые минуты прибытия в Варшаву, обрадованный мундиром, видом столицы, стольким новым, предметами и людьми, мало обращал внимания, очень мало чувствовал то, что меня окружало. Постепенно меня потом охватывала тревога и боль...

Каждый день отбивались от моих ушей жалобы на правящих тарговичан и их обхождение со страной. Даже детский ум привлекло это противоречие беспощадного деспотизма, который хотел распространять республиканские свободы.

Трепещущий король, полностью безвластный, сидел в замке, на нахальные письма Щесного отвечая полными требований стилизациями своей канцелярии. Русские генералы

отдавали ему честь, но торговичане вовсе не скрывали намерений якобы свержения с престола...

Этот мясопуст ослепших панов республиканцев продолжался столько, сколько было нужно России, чтобы на враждебных друг другу людях отомстить за Четырёхлетний сейм... Не называли сейм иначе, как заговором, покушением конституцией и революцией...

Наступил этот ужасный сейм, на который короля должны были почти насильно вытянуть из Варшавы. Гордые торговичане оказались взятыми в ловушку.

Короткое мгновение их правления прошло, Москва дала почувствовать, что она одна тут приказывает и распоряжается. Как молния упал на предателей приговор нового раздела страны, которого, слепые, они до конца не допускали.

Было что-то ужасное даже для самых равнодушных, наименее понимающих, что делалось на этом гродненском сейме, который добивал Польшу... но почти в те же минуты, когда на сессии подписали немой приговор Польше, пробудились чувства общего ужаса, возмущения, отчаяния такого яростного, что нельзя было сомневаться, что за собой потянет несвоевременный взрыв.

Эта катастрофа пришла слишком рано после воспоминаний о Четырёхлетнем сейме, падала на горячие ещё, неостывшие надежды, а сопровождало её обхождение Москвы со страной, такое жестокое, что все, кто жил, как бы в один голос воскликнули: «Лучше умереть, чем терпеть такое унижение и неволю!»

Нигде, может быть, эти события не произвели такого впечатления, как у нас в войске... Говорили о его роспуске, о сокращении, о распространении по стране, о резком преобразовании в российские войска...

Несмотря на чрезвычайный надзор российских властей, заговор возник почти со дня раздела... Во всех повторялась одна мысль – восстание... война...

Никто не рассчитывал сил, была необходимость спасения национальной чести, если не родины. Нужно было смыть кровью позор тех людей, что подписали приговор собственной стране.

По всем пробежал будто электрический разряд...

* * *

Мне было тогда двадцать два года, не мог, поэтому, быть допущенным ни к совещаниям, ни к какой тайне, но душой и сердцем я принадлежал к обществу всех моих коллег, ожидающих только знака к борьбе. Я не знаю, были ли москалям видимы какие-нибудь приготовления, для нас же были они явными...

Во второй половине марта уже в стане москалей в Варшаве была видна какая-то тревога и чрезвычайные средства осторожности, предпринятые для удержания порядка в столице...

Горожане ходили хмурые, словно не зная и не узнавая друг друга на улице и бросая друг на друга взгляды согласия – среди военных и ними нашлись неожиданные знакомства и небывалая приязнь...

Размещался я в то время в квартире при Медовой улице, в доме Карася, где мне кровные Манькевичи дали комнатку наверху. Старый Манькевич приехал сюда для лечения глаз, его сопровождала жена, а оттого, что болезнь была упрямой, уже год пребывая и привыкнув к месту, не думали его оставлять. Манькевич, старый шляхтич, но человек с головой и необыкновенными дарами мысли, жил очень умеренно, по-литовски, кормил также и меня от доброго сердца и забавлялся тем, что должен был знать о том, что происходило.

Он был очень осторожным, дабы не подвергать себя опасности от москалей, всё-таки опасение за себя побеждал горячий патриотизм, живой и беспокойный ум.

Старик ходил с зелёной заслонкой над слабыми глазами, с палкой, потому что был очень тучный, но в доме усидеть не мог и с того времени, как сюда прибыл, столько завёл знакомств, что с новостями проблем не было. А умел их добывать от каждого так ловко, что сам, смеясь, уверял: «Мой господин! Когда я выпытываю, говорят мне даже то, чего не знают. Это так, – сразу он объяснял, – так, потому что неоднократно поведал мне человек такую вещь, которая для него была непонятной, а для меня весьма значащей». Манькевич нанял себе весь этот дом (не дворец этого названия) и по той причине, как рассказывал, что не мог вынести проживания с людьми, которых бы не знал и которые бы ему могли колышки на голове тесать. Наняв дом, он пораздавал и посдавал комнаты, которые ему были не нужны, но уже тут чувствовал себя паном. Таким образом мне досталась комнатка, потому что старый Манькевич приходился мне дедушкой и очень любил меня.

Манькевичи детей не имели... при себе, одна их замужняя дочка жила в Литве.

Не было более ревностного собирателя новостей, сведений и сплетен, памфлетов и брошюр, чем старый Манькевич. Он ломал себе глаза, вписывая, что только доставал, в большую книгу, которую всегда держал под подушкой. Во времена Тарговицы, времена сейма и теперь, что показывалось в Вене или вышло из тайных типографий в Варшаве – всё это он должен был иметь... Он был немного скупым, но на таких бумажках никогда не экономил. За книги тарговицкого раздела он заплатил дукаты, а хотя ответ на них не много стоил, талеры и за это давал для комплекта. А то, что имел исключительную память, читал потом всё это как молитву.

Рядом с этой лихорадочной заинтересованностью делами страны, в судьбах которой никогда не отчаивался, Манькевич имел боязнь к русскому почти такую же сильную, как патриотизм. Не гнушался никогда им, но для него достаточно было вида вдалеке замеченного мундира, чтобы замолчать и закрыться в доме и посмотреть под кроватями, прежде чем снова отпуская поводья.

Притом генералам, офицерам и даже фельдфебелям, встречая их на улице, уступал дорогу и кланялся очень вежливо.

Когда иногда жена смеялась над ним, отвечал ей тихо:

– Такая моя система... дьявольская свечка... Да! Дьявольская свечка...

Зато в душе ненавидел их тем больше, чем ниже вынужден был кланяться.

Как сейчас помню, было это вечером семнадцатого или восемнадцатого марта... Время было отвратительное, стегал ветер с мокрым снегом... на улицу было не выйти, я возвратился домой пораньше. Манькевич дал мне прочесть брошюру *Nil desperandum* (ни в чём не нужно отчаиваться), которую тайно передавали из рук в руки друг другу.

Я сучал над ней у сальной свечи, когда меня позвали вниз на ужин... Мы ели тогда всегда ужин по-литовски, составленный из двух блюд, потому что Манькевич любил есть вкусно, а бабушка Манькевичева умела отлично управлять кухней. Тарелка ароматных зраз стояла уже на столе, бок о бок с кашей из бекона... а старик, сидя, барабанил пальцами по столу и не ел. Он был удивительно задумчив. Жена также, с заложенными на груди руками, задумчивая, только головой качала, словно борясь с мыслями. Войдя, я сразу заметил что-то необычное.

С обеда мы не виделись.

– Что же ты в городе слышал? Гм? – спросил Манькевич.

– В городе? – спросил я. – Ничего нового.

– А видел кого-нибудь? – начал изучать старик, однако сразу потихоньку пододвигаясь.

– Я виделся с несколькими товарищами.

– И не говорили ни о чём? – он посмотрел на жену...

– Нового я пока не слышал.

Манькевичи посмотрели на меня, словно изучая, не скрываю ли я что; мы приступили к еде. Известно про дедушку Манькевича то, что любил он сплетни, а в городе всегда хватает людей, что их носят, особенно, когда ожидают при той ловкости попить или поесть. Уже приступили к зразам, когда слуга объявил пана камергера.

Под этим титулом был известен нам старичок, назначенный ещё при Августе III, сегодня обедневший, живущий не известно чем в городе и играющий роль паразита. Он втиснулся во все дома, где его только как-нибудь принимали, забавлял рассказиками, чрезвычайно жадно ел, принимался за поручения, посылки, принимал даже маленькие подарки и должен был всю свою жизнь так служить людям. Будучи всем обязан саксонцам, ненавидел москалей, приписывая их интригам свержение с трона саксонской династии.

Старый камергер одевался, естественно, по-французски и, несмотря на возраст, был любезен с женщинами, болтал не очень по делу, но легко, много и так, что незнакомому человеку сразу мог вполне хорошим показаться.

Приём камергера в это время, хотя он в доме был достаточно близким гостем, имело своё значение. Он остановился на пороге, будто встревоженный тем, что застал ужин... но уже Манькевич тащил для него стул к столу и просил тарелку. Камергер, извиняясь, занял место. Он очень осторожно огляделся.

– А что же? – спросил Манькевич.

– Самая истинная правда, – пониженным голосом сказал камергер, – пусть болтают что хотят, но это так! Мадалинский пошёл на Млаву к прусской границе... в этом нет ни малейшего сомнения. – *Alea jacta est!*

Манькевич хлопнул в ладоши и схватился за голову, я же вскочил.

– Сядь, ради Бога распятого! – сказал старик. – Тихо, безрассудная голова, ни мру, мру! Москали теперь стены сверлят, дабы послушать... ни лицом, ни словом выдать не годиться.

Камергер продолжал дальше.

– Вокруг квартиры Игелстрёма формальный сеймик, казаки летают, бегают, вращаются... в окнах свет, несколько карет перед домом. В замке то же самое... Уже знают... думаю, что отправляют войска.

– Тогда только в Варшаве мы будем иметь, чем жить, – сказал Манькевич, – потому что ещё двадцатью днями ранее, когда ещё ничего не было, а уже арестовали Венгерского, Дзялынського и Серпиньского, что же теперь будет? Мы должны, как мыши, тулиться в норах, я и из дома не выхожу... Камергер очень усердно ел зразы.

– Нет сомнения, – начал он с ртом, полным соуса, – что надо быть чрезвычайно осторожным... шпионов как маку... За горожанами ходят, за военными, за каждым, что им кажется подозрительным.

– Остерегайся, друг мой, ради Христовых ран, – воскликнул Манькевич, – потому что, упаси Боже, пикнешь неосторожно словцо... и прицепятся к тебе, тогда ещё беды на мой дом притянешь... готовы и меня схватить... А ну! Дьявол не спит!

– Несомненно то, – поддакивал камергер, – что в доме Игелстрёма, в подземельях сидит уже несколько, другие говорят, более десятка особ... один Потоцкий даже.

– Извините, дедушка, – проговорил я, – я вовсе не думаю болтать, слова не скажу, но заранее должен то объявить, что если до чего-нибудь дойдёт, не буду последним.

Манькевич укусил свой кулак и дал мне знак молчать.

– Тихо, – отозвалась жена его.

Камергер посмотрел искоса. Я замолчал. Кроме этой новости о Мадалинском, прибывший имел много других для рассказа потихоньку и одни были страшней других.

– И не подлежит сомнению то, – добавил он, – что в городе готовятся к какому-то кошмару... Москали угрожают, что в пень нас вырежут... Собираются охранять арсенал, разоружить войско.

Я усмехнулся.

– Разве дались бы мы им так без сопротивления? – спросил я.

– А! Молчи же, прошу! – стуча о стол рукой, прервал старик. – Слуга ходит, слушает, может, у дверей, а ты голос поднимаешь, как бы намеренно. Говорит дискурсивы сторожу, сторож – негодяй-шпион... это несомненно. По глазам его видно плохое... а дом погубить легко, могут всех в Сибирь вывезти.

Испуганный, я замолчал, давая себе слово, что рта не открою. Камергер всё время шептал, но с чрезвычайной осторожностью, и, когда слуга входил, тут же изменял разговор, возвращая его на богослужение у капуцинов.

Вечер прошёл на комментировании этих новостей и на всевозможных конъюнктурах... старики, увидев меня молчащим, разговорились широко, так что я неожиданно узнал много интересных для меня деталей, о которых вначале и понятия не имел.

Камергер и старик были отличными хранителями секретов в иммиграционной работе Костюшки, Потоцких и Коллонтая, знали о пребывании Заячка в Варшаве, которого Игельстрём выпустил из рук, о заговоре, распространяющемся по всему пространству старой Польши.

Манькевич был того мнения, что нужно было дать ему хорошенько созреть и что Мадалинский вырвался раньше времени так, что пропадёт и что вся работа пойдёт плохо, так как люди неподготовлены.

Камергер не разделял этого мнения.

– Ради Бога, или сейчас, или никогда, – сказал он, доедая кашу, которую хозяйка ему немилосердно накладывала на тарелку, – всё войско уже знает, что будет делать. Гражданам дали знать через доверенных людей; позже, если бы разоружили остатки солдат, восстанию было бы не на что опереться.

У нас, впрочем, как только есть время поразмыслить, оно уходит всё без толку.

Расстались поздно, а Манькевич на ночь ещё повторил мне, чтобы я был внимателен, так как на полк Дзальинский москали особенно имели око...

Чуть свет я был в наших казармах...

Здесь уже по лицам я узнал, что новость о Мадалинском не была фальшивой... Офицеры ходили беспокойные, шептались между собой, советовались с солдатами, происходило что-то таинственное и, видимо, готовились из ряда вон выходящие вещи. Как один из самых младших я был неопытен ещё, чтобы участвовать в совещаниях, потому что не очень бы знал, что и советовать, но из разговоров я убедился, что мне доверяют и рассчитывают на меня.

Казармы были окружены шпионами... нам необходимо было иметь чрезвычайную бдительность, дабы не выдать, что мы уже что-то знали и к чему-то готовились.

На улицах в этот день поражал особенный вид, люди силились явно на то, чтобы не показать по себе, что вышли из порядка повседневной жизни, а движения их, взгляды, походка... всё выдавало, что произошло что-то необычное и охватило умы... Около Игельстрёма движение было совсем не тайным, адъютанты летали, посланцы ходили к замку, от короля приезжали генералы, прибыл гетман и сидел час... Из ратуши стянули урядников.

С каждым днём росло то беспокойство москалей, которые, однако, для маскировки, проходили через город с музыкой, муштровали себя, конно плясали по улицам...

Через несколько дней потом начали поговаривать о новых арестах, говорили даже о таких, которые до следствия не дошли. Какие-то имена ранее незнакомых людей кружились из уст в уста: Алоэ, ксендза Маера, Капостаса, Килинского...

Манькевич, видимо, не хотел при мне разбалтывать, потому что боялся моего юношеского пыла... умирал от страха вместе с любопытством, что же будет.

Так дожили мы до последних дней марта... с каждым днём жесточайшая полиция, надзор, шпионы делали жизнь невыносимой.

* * *

Несмотря на эти чрезвычайные меры предосторожности, чтобы Варшава не узнала ни о судьбе Мадалинского, ни о том, что делалось в стране, несмотря на то, что каждого приезжающего перетрясали на перекрёстках и брали на пытки... что по городам публичных уст никто раскрыть не осмеливался, акт краковского восстания дня 24 марта несколькими днями позже уже был известен в Варшаве...

Кто не знал бы о том, мог догадаться по лицам горожан... облики осветились... прояснились лица...

Манькевич целый день ходил по комнате, погружённый в мысли. Не зная, получил ли он уже информацию, с утра я прибежал к нему из казарм и шепнул ему на ухо:

– Генерал Костюшко в Кракове! Объявлено народное восстание... Люди с косами, горожане, евреи толпами собираются в войска!

– Цыц! Молчал бы, – сказал старик, – я знаю, но держи язык за зубами! Всё знаю, кто тебе поведал?

– Весь город, войско, народ знал, все...

– И что же? – спросил старый.

– Посмотрите через окно, тогда на лицах прочтёте, что они думают...

– А да! Это разумно! Это мило, – начал пилить старичок, – напиши себе на лбу большими буквами, чтобы москали прочли, что вы думаете, и знали, что делать...

– Что они нам сделают, – сказал я, – их горсть, а нас будет множество.

Он пожал мне руку...

Мне уже трудно было усидеть на месте, побежал в казармы...

Нужно было видеть нетерпение солдат и офицеров... едва спокойно в городе могли усидеть...

Вечером в театре объявили «Краковчан и горцев»...

Пьесе достаточно было одного названия «Краковчанин», чтобы стянулись толпы.

Мы также узнали, что Игельстрём, прочитав афиши, немедленно послал, дабы пьесу запретить, и что маршалек Мошинский по просьбе Богуславского поехал сам к генералу осведомить его, что пьеса была самая невинная на свете, а приказ без надобности раздражил бы...

Афиши утром поздирали, пополудни снова показались те, кто только имел грош в кармане; бежали в театр. Зала была переполненной, напиханной, набитой, словно для насмешки, в оркестре поместили военную российскую музыку, которой собирались аккомпанировать.

По правде говоря, из высшего света мало кто был в театре в этот день, но горожан, купцов, молодёжи, военных толпы. Когда русская музыка заиграла краковяк, а пары, одетые по-краковски, показались на сцене, и, танцующие, начали напевать, театр чуть не рухнул от аплодисментов. Необычайное восхищение объяло всех, смеялись и плакали. Актёры, повторяя самые невинные строфы песенки, умели им придать такое значение, что эти краковчане изображали нам не то, чем были на сцене, но тот краковский люд, что в те минуты с Костюшкой шёл под Рацлавицы... Само название Кракова было как бы тайным девизом, люди, неизвестные друг другу, вполне повторяли его потихоньку, пожимая руки.

Было видно, что от одного чувства вздрагивали все эти груди. Улыбка мелькала на устах, слёзы появлялись на глазах, руки горели.

Я посмотрел на залу, вся была одинаковой, запал охватил ложи, партер, парадиз... стиснутая толпа... Кое-где только бледное лицо, по-видимому, иностранца, встревоженного, смутившегося, выдавало, что он понял немой язык тех, что его окружали.

Словечком никто не выявлял себя, но наименее внимательный прочитал бы по глазам тех людей, чем была переполнена их грудь. Играла послушная российская музыка и так чудесно, словно знала, что сегодня значили краковчане.

Несколькими днями ранее и я был вовлечён в приготовления. Я не знал, по правде говоря, ни часов, ни срока, но о том, что в Варшаве что-то готовилось, я имел ведомость, потому что меня пару раз использовали для передачи нескольких слов, не очень понятных, мастеру Килинскому, именно тому самому, подозревая которого, Игельстрём вызвал к себе и, поговорив с ним, свободно отпустил.

Стоя в театре в партере, в нескольких шагах от себя я заметил моего пана мастера, который вытирал глаза...

Мужчина прекрасной фигуры, очень красивого лица, имел, скорее, физиономию шляхтича, чем ремесленника. Густые усы, подбритая голова, выражение мужества и энергии мимовольно обращали на него глаза... Мы посмотрели друг на друга, Килинский дал мне знак, словно после театра хотел говорить со мной. Всё это представление опьянило нас, выходя, мы очутились вместе. Пока толпа, выплывающая из театра, нас окружала, мы не говорили ничего, только в Старом городе, где уже было свободней, Килинский задержался.

– Мой поручик, – сказал он, – уж я вам, дзялыничкам верю, как самому себе... нечего хлопок для тебя накручивать. Время платит, время тратит. Может любой момент прийти такой, что и мы им краковяк сыграем... Ха! Ха!... Нужно, чтобы всё было подготовлено, а эти, милостивый государь, так стерегут нас, что двинуться нельзя... Постоянно необходимы коммуникации между нами... а тут шпионы нам на пятки наступают...

– Поэтому, что же, уважаемый гражданин? О чём речь? – спросил я. – Завтра готов к услугам.

– Это я знаю, – отпарировал Килинский, – но дело в том, чтобы они не догадывались и чтобы их обмануть... Если из вас кого схватят, хотя бы пана благодетеля, провал – рук и палашей не будет слишком много, – задумался пан Килинский и рассмеялся.

– Только, дорогой поручик, не думай, – добавил он, – чтобы плохо воспользоваться тем, что я должен тебя познакомить с красивой девушкой.

От этих слов я ошеломился.

– Что же это значит? – спросил я.

– А так! Ты бы не рад, хотя два раза в день на свидание ходить? Москали этим не возмутятся, не удивятся, а, как ко мне один раз придёшь... в карцер нас запишут.

Я стоял молчаливый, ибо ещё не мог понять, чем это закончится... Мы неторопливо шли дальше... Килинский тихо говорил.

– Нужно, дорогой поручик, все пружины использовать... а наши женщины мужественные сердца имеют. Я вас представлю той, которая носит приказы и бумаги и в которой я настолько уверен, как в себе. Что же было делать, и бабы должны служить родине. Только, ваша милость, не влюбляйся, потому что это напрасно... это дикарка и не для романов.

Чрезвычайно заинтересованный, смешанный, шёл я за Килинским. Мы остановились на рынке Старого города... Перед нами была узкая каменичка, над воротами которой висела уздечка. Килинский пошёл прямо на тёмную лестницу, я за ним. Взобрались мы так наощупь на пятый этаж.

Постучав два раз в дверь, мастер подождал, пока изнутри не отворилось маленькое окошко; голос спросил:

– А кто там?

– Это я, пани мастеров... – он шепнул тихо фамилию.

Впущенные внутрь, мы вошли в переднюю, где уже сильно чувствовался запах шкур... Женщина, которая нам отворила, немолодая, тучная, высокого роста, на приветствие Килинского: «Слава Иисусу Христу», ответила набожно, но, увидев меня за ним, по-видимому, смешалась. Мы вошли.

– Есть Юта? – спросил Килинский тихо.

Женщина, прежде чем собралась ответить, бросила взгляд на меня, мастер её понял.

– Он тут нужен! – шепнул он.

– Ни к месту! Ни к месту! – ответила старуха. – Зачем молодых людей приводить.

– Чтобы не подразумевали, для чего приходят, госпожа моя, – начал Килинский. – Пусть люди думают (он рассмеялся), что для красивых глаз Юты.

В эту минуту на пороге другой комнаты показалась женщина, я угадал в ней ту, о которой была речь. Я воображал себе молодую красивую девушку, но такого образа, какой мне представился, в целом ожидать не мог.

Описать лицо и фигуру женщины чрезвычайно трудно, нет подходящих красок и слов... которые вконец говорить перестали.

Не буду также стараться над образом панны Юты Ваверской, потому что обрисовать его не сумею. Эта была девушка, быть может, лет двадцати, высокого роста, с гордо поднятой головкой, личиком на вид не имеющим в себе ничего необычного, с большими голубыми глазами и светлыми косами. Выражение говорило больше, нежели черты, хотя те были чистые и красивые. Редко лицо женщины имеет такой признак энергии, отваги и гордости, какими отличались черты Юты. Она присматривалась, кивнув головой Килинскому, ко мне, несчастному, стоящему, словно у позорного столба и, казалось, что она мерила и оценивала меня, что я мог стоять.

Её губы в итоге сжались с некоторым знаком недовольства, сложила руки на груди и стояла молчащая.

– Идём дальше, – сказал Килинский.

Шли мы тогда через другую комнату, которая была рабочим местом шорника, большая и просторная, а потом через разновидность кухоньки в более достойную третью, в которой пани Ваверская показала нам табуреты с видимым беспокойством и плохим настроением. Юта стояла немного поодаль.

– Не гневайтесь, не гневайтесь, моя добродетельница, – произнёс Килинский. – Поручик Сируц, которого я привёл к вам, рекомендованный мне, хороший, никаким легкомысленным парнем не является, честный ребёнок. Чем же он вам навредит, когда иногда придёт и слово принесёт, которое Юта отдаст туда, куда следует?

– Но, не оскорбив поручика, – начала старая Ваверская, – пусть это будет без травмы, вы могли также выбрать постарше... Э! Прекрасная вещь, как тут мундиры к нам зачествят... и люди про Юту болтать будут, – она махнула рукой. – Э! Э! – повторила.

– Но, моя пани мастеровая, – возразил Килинский, – нам это нужно, чтобы его заподозрили, что влюбился по уши.

Он рассмеялся, но ни Юта, ни мать не дали себя этим развеселить. Скорее, лицо девушки приобретало суровое и всё более дикое выражение.

– Вы могли бы также подобрать постарше, – докинула Ваверская.

Посмотрев на мать, на Килинского и на меня, после размышления, Юта наконец сказала звучным и спокойным голосом:

– Пускай же матушка этим не терзает себя, – сказала она, – в такое время нечего думать о себе, когда тут родину нужно спасать. Пусть люди там плетут что хотят, пан поручик принесёт, что нужно, а я отнесу, куда следует. Раз уж комедия – нужно играть... так играть, чтобы москалей одурачить. Я не много забочусь, что скажут люди.

Ваверская пожала плечами.

– За Юту я вовсе не боюсь, – добавила она, похлопывая её по плечу, – ей голову сбаламутить нелегко, а поклонников коротко и узловато выпроводит.

Пусть бы там кто-нибудь решился, зачем попадать на людские языки.

– Моя мастеровая, рассудите-ка, в чём тут дело, – сказал мастер, – нам ни одному не двинуться с тем, чтобы не иметь за собой шпиона... на Юту никто внимания обращать не будет... это необходимость... или мы спасём родину в этот период, или она погибла.

Юта живо прервала:

– Мне нечего сказать, что нужно – то нужно, пусть поручик приходит! Всё-таки однажды мы от москалей должны избавиться.

– И надеемся, что это наступит, – усмехнулся Килинский. – Но тут беспрестанно между войском и нами необходимо поддерживать связь... Как? Не знаю. Только скрываясь и мотаясь так, чтобы ничего не узнали.

Ваверская молчала, вздохнула.

– Но вы думаете, пане мастер, – сказала она, – что мне родина менее дорога, чем вам, и что я колебалась бы отдать за неё жизнь, как покойный мой Серафим. Пане, почти его душу, однако, не кто-нибудь, а я воспитала Юту, что имеет такое великое сердце, а ну, жаль ребёнка...

– А что ему будет? – спросил Килинский. – Уж поручик уважать её сумеет...

Затем пришло время и мне отозваться, а мне уже было жаль, что какой-то такой недоверчивый приём застал.

– Пани благодетельница, – сказал я вежливо, – мне очень больно, что, будучи использован в публичном деле, от которого не годится отказываться, не могу поменяться моей обязанностью с кем-нибудь иным, чтобы не быть вам навязчивым; но могу заверить, что я воспитан в религиозном доме и никакого легкомыслия в жизни не допустил. Тем меньше можно меня подозревать в нём, когда речь идёт о таком деле, как наше... было бы криминалом... о чём другом думать, как о нём...

Юта приглядывалась ко мне и внимательно слушала, когда я говорил – моё слово попало ей в сердце...

– Ну, довольно, довольно, обо мне тоже речь, да бросьте, матушка... Я уже принялась носить сумки для пуль, бумаги и пароли... нужно выдержать до конца!

Её глаза зажглись как бы внутренним огнём...

– Отца моего убили русские! – прибавила она. – Пусть же я, слабая, хоть таким способом за него отомщу... Если бы и умереть пришлось!

В её глазах стояли слёзы, Ваверская их также вытерла фартуком. Килинский крутил усы.

– Ну, пане поручик, – сказал он, не допуская, чтобы дольше поплакали, – шутка шуткой... будешь первый раз в жизни выставлен под огонь неприятельских батарей, потому что глаза Юты... это хуже пушек... не дай же убить себя! Держись крепко...

Юта с каким-то сожалением посмотрела на меня сверху, я покраснел, не отвечая ничего... Мы встали со стульев, прощаясь с молчащей хозяйкой и красивой девушкой, которая только у вторых дверей, отвлечённая, кивнула мне головой. Заспанного слугу достали с печи, чтобы осветил нам на лестнице.

Мы вышли на рынок. Килинский по молчанию и физиономии должен был догадаться, что я был в плохом настроении и не очень доволен – он взял меня тогда под руку.

– Ну, ну, – сказал он шутливо, – когда ты должен бы меня благодарить, что тебе так устроило служение родине, ты делаешь мне кислую мину, поручик.

Пан мастер был шутником и великим бабником.

– На вашем месте, в вашем возрасте, друг мой, я имел бы себе за счастье пару раз в день смотреть в глаза такой красивой панне... хотя бы без дальнейших последствий! А

должен вам добавить, что так же, как она красива, она мужественна и степенна, почти скажу, героиня... То правда, что покойный Серафин Ваверский погиб от москалей... зарубили его... самым невинным образом... но дочка также... это полька, пане, какой поискать. Уж за то не ручаюсь, чтобы карабина не взяла. Она тут почти также деятельна, как я, и умеет отлично за себя постоять... и пройдёт везде.

Эти слова Килинского, брошенные при прощании, сильно меня удивили и пробудили интерес.

Я насмотрелся, хоть молодой, что в высшем обществе наши женщины в политических интригах были очень деятельны, и весьма разгорячился – но в том классе, к которому принадлежала Юта, я не допускал ни чувства патриотизма, ни возможности служить делам страны.

Несмотря на то, что я себе как можно торжественней поклялся не думать о красивой девушке, не смотреть на неё, от её образа не мог избавиться всю ночь... Она стояла перед моими глазами с тем суровым лицом, с огненными глазами, словно гневная, вдохновлённая и страшная, а, несмотря на это, притягивающая дивной красотой, которой я понять не мог. Ничего в ней не было женского, обаятельного, ничего мягкого, однако, имела для меня тем более особенное очарование, что ей его ни окружение, ни одежда, ни речь придать не могли. Дочка шорника, скромно одетая, без старания и элегантности, с личиком, каких встречается тысячи; я презрительно отпихнул впечатление, какое она произвела на меня, а избавиться от него не умел... Естественно об этом всём приключении никто дома от меня ничего не узнал, я избегал разговора с Марикевичем, потому что он всё больше тревожился. Он не знал, что делалось в городе, но должен был приготовиться, догадаться.

* * *

Месяц апрель начался для нас ежедневно возрастающей горячкой.

Облик Варшавы каждый день изменялся, слепой бы, пожалуй, не увидел, что тут готовились к решительному шагу.

Игельстрем действительно имел отличные рапорты о состоянии умов, но никогда, по видимому, не допускал, чтобы в столице могло дойти до сражения.

Послал за подкреплением, опасаясь больше восстания и Костюшки, чем самой Варшавы. Здесь ежедневно кого-то арестовывали, осторожность была чрезвычайная; король, гетман и вся замковая партия действовала по умыслу генерала и с ним держалась...

Ни для кого не было тайны, что в Великую неделю, пользуясь тем, что народ должен был быть при могилах и в костёлах, хотели захватить арсенал и разоружить польское войско.

Ожаровский согласился на это.

Генерал Тиховский, который был при нём адъютантом и начальником штаба, принадлежал к союзу, через него нашим всё было известно... Русских в Варшаве было от семи до десяти тысяч, польского войска, разбитого, разделённого, рассеянного по казармам и на Праге чуть больше двух тысяч.

Мы, однако, рассчитывали на мещан, которых арсенал должен был вооружить.

Сразу на следующий день меня послали к Юте с бумагой, которую она должна была отнести на Прагу.

Я постучал в дверь, а, так как в первых двух комнатках было полно челяди за работой, я пошёл с ней аж в третью, причём сообразительная Юта, видно, чтобы не дать заподозрить, что пришёл с чем-то важным, смеялась и шутила, что меня очень смущало. Я чувствовал, что плохо играл свою роль.

Я шёл за ней, вынуждая себя к улыбке... а в сердце мне как-то горько было.

Пришла мать, прося меня на кофе, которое сразу сама начала готовить. Мы отступили в глубь окна и тут, незначительно оглядываясь, чтобы не заметила челядь, я вручил ей бумагу, которую она поспешно спрятала.

В первый раз я увидел её днём... она показалась мне гораздо более красивой, чем вчера... Кожу имела дивно белую и нежную, прекрасные лазурные глаза, высокий лоб и тёмные ресницы; когда она опускала веки, они ложились шёлковой бахромой... Благородное выражение лица в простой девушке удивляло. Я присматривался к ней с дрожью, она ко мне с равнодушным интересом. Несколькими словами мы потихоньку перемолвились.

Несомненно для того чтобы сбить с толку челядь в другой комнате, двери которой были открыты, она разговаривала со мной весело и смеясь... Однако чувствовалось, что эта веселость была сделана специально. Мать также для обмана людей принимала меня как кавалера...

Не было тогда ничего такого удивительного, чтобы шляхтич, офицер, старался о дочке богатого ремесленника и мещанина, имеющего дом и капитал, как Ваверский. Женилось много, особенно, когда панна была красивой и хорошо образованной.

Я специально просидел там какое-то время, чтобы кому-то не показалось, что я как на огонь прилетел. Юта села напротив меня, опёршись на руку... но принужденный разговор не шёл. Она только с интересом ко мне присматривалась и вовсе не скрывая того, что хотела лучше узнать наречённого ей юнца.

Я не мог притворяться, говорил о делах, спокойный взгляд Юты, словно старшей сестры, покоящийся на мне... отбирал моё самообладание. Когда пришлось уходить, Ваверская специально снова провела меня через мастерскую и челядь даже до порога, повторяя громко:

– Очень просим бывать у нас чаще, хотя бы каждый день, очень просим, доставишь нам, пан, великое удовольствие. Юта давно хотела брать лекции живописи... а то того старого Фолина не допросится.

С этого я узнал, что могу играть роль учителя живописи.

Испуганный, уставший, недовольный собой я вышел на рынок, только тут вздохнул. Я шёл медленно к замку, задумчивый, разглядываясь, когда за собой услышал энергичную походку и увидел уже идущую Юту... Это было новое для меня зрелище – встретить её на улице... я отошёл в сторону и скрылся под воротами, чтобы лучше её разглядеть.

Покрытая чёрным платком, так, что лица её почти не было видно, шла, а скорее, бежала уверенным и смелым шагом, с фигурой, так искусно и поразительно красивой, что её можно было принять за какую-то переодетую пани. Она меня даже не заметила и миновала, задумчивая, шла, занятая своим посольством. Я не спеша пошёл за ней, преследуя её глазами. Это дивно мешалось у меня в голове. Издалека я мог заметить, что несколько раз она останавливалась, проходя и обмениваясь несколькими словами со встречными мещанами... исчезла потом за замком...

Я вернулся домой. Тут я застал тревогу и безмерную радость – знали уже о битве под Рацлавицами и победе, которая в первые минуты, естественно, ещё большие приобрела размеры. Камергер сказал, что в замке и у Игельстрёма царила непередаваемая паника...

Проклинали якобинцев!

Горожане на ухо рассказывали друг другу, что несколько тысяч москалей полегло на поле битвы, что войска их были разбиты, пушки забраны и в первый раз героически выступили крестьяне с косами, способствуя победе...

В военных и шляхетских кругах радовались победе, это правда, но когда речь была о холопах и косах, молчали. Призвание крестьян к оружию было такой чрезвычайной вещью, что в эти минуты, действительно, повеяло якобинством и наполнило страхом. Шляхта с тем вовсе не таилась, что победные косы и для неё были страшны.

Зачем отрывать людей от поля и почвы, разве это их вещь – биться за родину, а для чего же мы?

Акт восстания и ссылки в нём на народ, читаемые в замке, вызывали, естественно, упрёки в якобинстве.

Вскоре потом показались плакаты неустанной Рады, обвинения в предательстве и установление суда над бунтовщиками, но те тут же сдались. Рассказывали об Игельстрёме, что подступить к нему было невозможно, впадал в ярость при виде контуша, угрожал, ругался, оскорблял сенаторов... клял и прозывал всех предателями... На улице мало кто смел показываться, а перед жилищем посла избегали проезжать... В городе царила ужасная тишина и пустыня... Люди проскальзывали стороной, стараясь пройти незамеченными и неузнанными... Московские солдаты, в результате ли приказов, или дерзости нападали на самых спокойных прохожих, гауптвахты были полны заключённых.

* * *

Разумеется, что в таком состоянии вещей наиболее деятельные люди скрывались как можно усердней, не желая обращать на себя внимания. Я, чаще всего одетый по-граждански, и панна Юта, на которую никто не обращал внимания, носили приказы, приносили новости. Всё городское оживление сосредоточилось при Килинском, который на глаз занимался своим ремеслом; по нему нельзя было узнать, что в его руках находилась судьба столицы, а отчасти и страны. Всегда в хорошем и фамильярном настроении, отважный, хладнокровный, не давал догадаться по внешности, каким был деятельным. В таком великом городе, где русские долгим пребыванием понаделали тысячи знакомств и связей, приготовить люд, челядь – часть народа менее всего привыкла к таинственности и молчанию – так, чтобы раньше времени не выдать себя – было настоящим чудом. Глядя, как это в тишине готовилось, я не мог выйти из изумления и восхищения простым человеком, вовсе нехитрым, который это так умел вести.

Приближалась Великая неделя... чувствовалось кипение приглушённых чувств во всём народе... бегали вести о резне, о вооружении, о нападении русских на костёлы. Всё это раздражило народ, но что кипело в нём, не показалось снаружи. Игельстрём мог думать, что угрозой и тревогой вынудит Варшаву к сдаче. Не жалели также того ужаса и приманки. В замке царил страх – но не так боялись там революции, потому что от неё российские солдаты охраняли, как гнева императрицы, который заранее сжигал Игельстрёма.

Король напрасно представлял ему, что за безумную часть народа не годилось карать всех – давал понять, что в виновность всех не верит. С каждым днём было хуже, воздуха для дыхания, казалось, не хватает... возле казарм казачество, вокруг пушки, шпионы, бродяги, преследование для уничтожения. Майор Зайдлиц и капитан Мыцельский не потеряли, однако же, духа. Поскольку имели на них глаз, посылали меня или Ягодзинского, а, так как я ни к Килинскому на Дунай попасть не мог, ни к мяснику Моравскому, который ему помогал, посылали мы Юту, по целым часто дням, почти без отдыха, без еды бегающую то на Прагу, то за разными закусками города. Что должна была вытерпеть от этого бедная девушка, знала только она. Никогда, однако, не жаловалась и часто, когда, едва присев и не имея времени отдохнуть, должна была бежать снова, бледная и уставшая, даже слово не говоря. Мать с состраданием смотрела ей в глаза, вытирала слёзы и также молчала.

Мы имели уже сношения и с Костюшкой, и с Краковом и с Литвой, где готовился Ясинский, и с войском, стоящим на Украине, и Волыни, а в Варшаве мы все друг с другом были в договорённости, а москали или не догадывались ни о чём, или очень мало. Делалось это всё на их глазах, которые Господь Бог ослепил. Не понимали нас, не могли ничего открыть, а, счастьем, не было тогда между нами предателей.

Духовенство в монастырях также было весьма патриотичное и полезное; у них был самый надёжный склад оружия, сокрытие людей, а когда посланцев не оказывалось, можно было смело шепнуть брату, чтобы шёл туда-то и туда-то, он справлялся всегда лучше всех.

В замке вовсе не было по-прежнему... Поглядев даже на улицы, мы легко могли узнать, как там королю было тесно. Этих толп придворных, как раньше, этой толчеи, карет, этого наплыва иностранцев вовсе издавна не было видно.

Уменьшенная служба, более скромная репрезентация, малая горсть крутилась ещё около Понятовского, который потерял всякое значение. Москаль отдавали ему честь как коронованной голове, но Игельстрём обходился с ним как с невольником. Ни балов, ни ассамблей... ни многочисленных обедов в замке... Окружала короля семья, примас, который снова был тут оракулом, пани Краковская, воеводина люблинская, Мнишки, пани Грабовская, экс-подкоморий, Тышкевичи... Примас, пани Краковская и Грабовская, как всегда, так теперь ещё больше придерживались России и посла. Охраняли короля, пугая его якобинцами, лишь бы из этого круга не вышел, дни и ночи упрекали Потоцких, Четырёхлетний сейм и всё зло приписывали ему.

Больше снисхождения было к Тарговицкой конфедерации; о той только потихоньку, в маленьком кружке рассказывали, как она развлекалась на протяжении короткого времени своей жизни. Глаза и сердца отсюда были направлены на Петербург. Надеялись смирением и униженностью умиловить царицу – когда вспыхнуло краковское восстание. Для короля и фамилии был это новый удар – оказались между молотом и наковальней. Наибольшее отвращение имели к революции, а с другой стороны москаль становился самым несносным, требующим, деспотичным – король не хотел подставлять себя ни одной, ни другой стороне и жестоко мучился. Ожаровский и Забелло приходили к нему уже с приказами от Игельстрёма, но только с ведомостью, что было приказано... Король согласился на всё.

Победа под Рацлавицами, однако же, натолкнула его на мысли: «А что если революция победит? Революция, якобинцы, террористы, демагоги».

Однако же в замке не допускали, чтобы мощь России могла быть сломлена, а в резерве были также пруссаки. Это успокаивало.

Когда так с одной стороны правящий мир заблуждался, не чувствуя, что имел под стопами, в городе хорошо организовывалось восстание.

Через Тиховского мы знали наверное, что во время великопятничного богослужения собирались занять арсенал, а для отвлечения людей умышленно сделать пожары. Свыше восьми тысяч войска и хороших генералов имеющий Игельстрём не сомневался, что хотя бы дошло до столкновения, победит и будет терроризировать Варшаву.

Нам, поэтому, нужно было спешить, дабы его опередить. Шпионов было полно, но те смотрели и не видели ничего или не предавали реального значения; наши сходились в арсенале, в ратуше, в гостиницах, в комнатах казарм, совещались, рассылали приказы, послы летали, Господь Бог им глаза позакрывал.

Действительно, когда припомню эту минуту, предшествующую восстанию, не могу понять, как могло стать, что нас заранее не забрали, что до последнего часа Игельстрём не знал ничего. Несмотря на осторожность, люди почти явно договаривались, что должны были делать; носили в фартуках кремь и патроны, в мастерских не было работы, на каждый отголосок колокола люди срывались, на лицах рисовалось беспокойство.

Московские солдаты во многих домах стояли квартирами, почти тёрлись о заговорщиков... ни о чём не догадывались.

Очень может быть, что Великая неделя, богослужение, приготовление к празднику, обычно делающее суматоху в повседневной жизни, способствовали этому.

В Великий вторник ни Килинский, ни Моравский не показывались на улицах... в наших казармах всё приготавливалось. Наиболее деятельным был капитан Мыцельский,

потому что и сам собой, и деньгами делал, что мог. Полковнику Хауману, который заменял вывезенного шефа Дзялынского, не подобало мешать даже до последней минуты, ибо он был слишком на виду.

Когда я в это день пришёл домой, чтобы попрощаться с дедушкой Манькевичем, потому что хотел ему объявить, что должен переехать в казармы, застал обоих старичков очень удручёнными, камергер удерживал им поле.

По лицам обоих было видно, что Манькевичи либо о чём-то догадывались, либо знали что-то, о чём я говорить им не мог. Когда я вошёл, старик меня кисло приветствовал.

– Что-то вашей милости уже не видать! – воскликнул он. – Что же с вами делается?

– Служба, – сказал я, – служба...

– Где? Что? Служба! Рассказывай тому, кто ничего не понимает... на Великой неделе! Какая служба!

Они посмотрели на меня, я смешался.

– Но даю слово, дедушка, что служба, – отвечал я, – уж по доброй воле я не летал бы...

Камергер внимательно на меня посмотрел, я воспользовался этим разговором, чтобы при той ловкости объявить, что должен буду оставить дом.

– Такая неотложная у нас теперь служба и муштра, – сказал я, – что я даже пришёл объявить, что на несколько дней должен переехать в казармы. Я имею приказ от капитана Мыцельского...

Все значительно посмотрели друг на друга и умолкли. Камергер закашлял. Манькевич, хотя я ожидал сопротивления с его стороны, не сказал ничего...

Замолчал и я... Не смели меня, видно, спрашивать и ответить бы я также не мог. Через мгновение Манькевич, отправив слугу в город и оглядев дверь, вернулся.

– Ну, говори, что намечается? В городе кипит? Вы что-то готовите? Тут незачем лгать... я старый и калека, дьявол меня ещё надоумил стать так недалеко от квартиры посла... может быть несчастье при какой неразберихи! Что делать? В действительности ли обезумели и что-то намереваетесь делать?

– Я ни о чём не знаю, – сказал я, – я молод, исполняю приказы, а остальное меня не касается.

– Но глаза имеешь! Что там готовится? – воскликнул старик. – Москали с какими-то десятью тысячами в городе, наших нет и двух, а та половина на Праге, артиллерии нет... порядка, небось, тоже... с чем же тут выступать? С мотыгой на солнце?

Я знал Манькевича, что был он самым ревностным патриотом, но также известным трусом... я пожал плечами и не отвечал ничего.

– Говори же: черно или бело? – воскликнул старик. – Что боишься? Меня или что?

– Я надеюсь, что и меня пан Сируц также не боится? – усмехаясь, сказал камергер.

– Я должен бы повторить то, что говорил, – отвечал я медленно, – ничего не знаю. По городу, однако, все говорят и это не есть никаким секретом, что москали в Великую пятницу собираются броситься на дома, поджечь город, захватить арсенал и устроить резню!

– Но где же! – огрызнулся дед.

– Так говорят, – повторил я, – я не очень в это верю... Говорят, что на домах мелом понаделанные знаки нашли... Если бы в этом была правда, должны ли мы дать как бараны в пень себя вырезать, даже не защищаясь?..

– Это бред, – прервал Манькевич.

Замолчали.

– Я попал в петлю, – прибавил он, подумав, – из Варшавы выезжать слишком поздно... будет резня, тогда получу по горлу и упаси Боже от авантюры... также не лучший конец.

– Друг мой, – спокойней отозвалась пани Манькевичева, – хоть это бабское мнение, вы можете его послушать. Если можно спастись, нужно хорошо поработать, а если нет спасе-

ния, что лучше? Сдать себя на Божью волю и сидеть. Я уже исповедалась, муж тоже, совести у нас чисты... пусть делается, что даст Провидение.

– Но несомненно, – подтвердил, склоняя голову, Манькевич, – но несомненно... однако же... я попал в петлю. Глаза мне Беклер не вылечил, а голову ради них придётся отдать.

– Уж нас в пень всех не вырубят, – добавил камергер. – Есть крыши и подвалы... есть тайники... если уж великая беда будет... тогда в норы...

Я встал, дабы попрощаться со стариками, искренне мне было их жаль, Манькевич поднялся, обнял меня за шею и, благословляя, потихоньку расплакался.

– Ты тоже, бедняга, – шепнул он, – наверное, в углу сидеть не будешь... пусть же Господь Бог стережёт тебя от несчастья... *in nomine Patris et Fili*. Воздерживать тебя от оплаты святого долга родине – не буду... но уважай себя.

Всё это он потихоньку клал мне в уши, приблизилась старушка, также со слезам в глазах, но более мужественная.

– Не плачьте, – сказала она, – что Бог даст – то даст. Поляку идти в огонь – это обычная вещь. Ваши деды и прадеды не иначе погибли. Я насчитала бы несколько моих поколений из ряда, из которых ни один на ложе не умер, все на поле. И это более прекрасная смерть, чем другая. Что Бог даст – то даст.

Камергер встал и также приблизился ко мне.

– Дорогой кавалер, – сказал он, – я так, на всякий случай для информации скажу тебе, не то, что я хотел бы тебе мешать... но... верь мне так... как вывод только... скажу тебе... что... (тут он потянулся к моему уху) в каменице посла тыльный выход должен быть... на глаз... гм!

Сказав это, он отскочил, приблизился ко мне снова и так же мне шепнул:

– Уважаю костёл, но с капуцинами договорись, гм! потому что это напротив Игельстрёма... пункт великой важности. Так, на всякий случай.

Препровождённый аж до двери, я вышел. Едва я добежал до казарм, позвали меня к капитану Мыцельскому. Вместе с другими я был назначен для занятия позиции как раз около Капуцинов, напротив дворца, в котором стоял Игельстрём, недалеко от жилища деда, имея поручение следить, кто будет входить и выходить и куда отправят посланцев. Было нас так расставленных по кругу несколько сотен, но одетых по-граждански, без мундиров.

Камергер отлично угадал, потому что уже тогда я узнал, что на следующее утро должно было состояться нападение на эту главную квартиру.

Ещё в начале, прежде чем я занял мой пост в комнатке у сапожника, из окна которой я отлично мог видеть ворота и калитку, должен был бежать с письмом к Юте.

Было только около полудня, когда я к не постучал. Она сама мне отворила. Мастерская пустовала, челяди не было никого, в третьей комнате Ваверская как раз поставила обед, когда я появился.

Юта была бледная... её глаза только горели, а были у неё глаза дивные, потому что в них менялся цвет. Бывали они серые, голубые, а иногда и тёмно-сапфировые, бледные и потемневшие, когда успокаивалась или горячилась и как её лицо представлялось бледным или кармазиновым от наплывающего румянца, так эти большие, чистые глаза менялись чудесным образом. Я посмотрел на неё, она явно была утомлена – беспокойная, руки её дрожали, а взгляд горел. Я запер дверь, прошёл с ней к матери. Старуха молча ела бульон, а для дочки даже тарелки не было.

– А ты не ешь? – спросил я.

Она была уже более смелая со мной.

– Не могу, я жестоко измучена, ноги под собой едва чувствую, я голодна, а в рот ничего взять не могу. Чем ближе этот великий, решительный час, тем я более беспокойна. Мой Боже

великий, – прибавила она, ломая руки, – неужели нам удастся, бедным – неужели удастся! Русские готовы, верьте мне, может, даже что-нибудь знают. Столько ходя, я внимательно наблюдала, великая бдительность у них. А! Боже, удастся ли нам!

И она упала на стул, закрывая глаза.

– Всё в Божьей власти, – шепнул я, чувствуя себя взволнованным, как она, – в таких делах нет, видимо, человека, который бы сумел рассчитать, как пойдёт. Самая маленькая вещь может помочь, наименее значащая – явно навредить... я надеюсь на хорошее.

У Юты были полные слёз глаза... мать, посмотрев на неё, сказала:

– Но съешь же чего-нибудь тёплого... это словно созданная эпидемия, что лихорадку даёт... хоть ложку...

Она уже набросила платок, желая идти.

– А пан? – отозвалась она. – Вы, наверно, голодны и больше меня нуждаетесь в питании и силе.

– Я ел, – отвечивал я, благодаря и качая головой.

Мать подставила дочери тарелку, она взяла из послушания ложку, поднесла её к устам и положила.

– Не могу, – шепнула она, – не могу, скорей, кусочек сухого хлеба... Я должна идти на Дунай... когда вернусь, матушка, сделай мне кофе... потому что он сон отталкивает, а я не хочу и не могу спать... В эти минуты заснуть... этого бы себе не простила...

Признаюсь без стыда, что в безумную девушку я уже тогда влюбился и уверен, что каждый молодой человек, который был бы на моём месте, так же потерял бы голову. Но, чем сильнее она сводила меня с ума, тем больше я старался скрыть то, что со мной происходило. Ни за что на свете я этого не выдал бы, прикидывался самым равнодушным.

Она собиралась уже выходить, а я, прощаясь с матерью, также пошёл к порогу, когда она обернулась ко мне с доверчивостью невинной сестры.

– Где вы будете пребывать? – спросила она.

– Мне приказано быть при Медовой на часах аж до минуты...

– На улице?

– Нет, – сказал я, – у меня там есть на день свой угол у сапожника и окно... подле Капуцинов...

– Ну, – отозвалась она, стоя на пороге и подавая мне руку. Бог знает, встретимся ли мы и увидимся на этом свете, Бог знает, что меня и вас ждёт... мы работали вместе ради одного дела... будь здоров, добрый товарищ...

Она грустно улыбнулась. В душевном порыве я схватил её руку и с избыточной, может, горячностью начал её целовать, пока она не вырвала её у меня и не покраснела. Мы не сказали уже ни слова, потому что она молнией побежала по лестнице, а я тащился как парализованный. На душе у меня был дивно, грустно, страшно...

За несколько дней я привязался к ней, правда, по-братски, но так, что мне казалось, что никогда уже чужими друг другу стать не можем. Одно чувство связывало нас, сближало... сблизило так быстро, так сильно, что теперь думая, что, может, никогда её не увижу, камень имел на сердце. Пошёл на позицию.

Комнатка была грязная, пропитанная неприятным запахом кожи и смолы, тесная, окно испачканное, словом, позиция вовсе не милая. В первой комнате – мастеров Томилова с тремя маленькими детьми, одним у груди, вторым – в колыбели, третьим – ползающий по полу. Ежели один ребёнок случайно засыпал, второй начинал кричать, ежели двоих успокаивала, плакал третий. Бедная женщина со своим *люли, люли* и вздохами к Богу о помощи и фуканием, и ласками производила на меня впечатление мученицы. Я имел уже охоту самого старшего потомка Томилов взять на колени и спеть ему: “Едет пан на конике...», но от окна им не вольно было отступить.

Перед ним ворота дома Игельстрёма были как на ладони.

Сколько бы раз они не отворились во двор, я мог заметить вооружённый батальон пехоты. Оживление было огромное... конные казаки каждую минуту прибегали и отъезжали. Несколько генералов прибыло на совет.

В окнах второго этажа перемещались мундиры и густо сновали самые разнообразные фигуры.

Карета гетмана Ожеровского прибыла также и остановилась... за ней приехал Забелло, потом Анквич... потом генерал-адъютант от короля...

Совещания продолжались долго... выслали в город пароли... Снова казак поскакал на Медовую улицу к Стожерской...

Начинало смеркаться, когда двери первой комнаты отворились, кто-то вошёл...

Тихо пошептались... Смотрю, на пороге стоит Килинский.

Хоть вовсе не было жарко, он вытирал с лица пот, подал мне руку.

– Что же они... пронюхали! – шепнул он. – Правда, как в улье пчёлы жужжат. Ты не видел, кто-нибудь из наших панов был? – спросил он.

Я назвал ему имена тех, которых знал, он покачал головой.

– Э! Было их там, наверно, больше... а хорошо бы переписать, чтобы панов к расплате потянуть... гм!!

Он тогда сам заглянул в оконное стекло, смотрел долго...

– Мой поручик, – сказал он, – мне кажется, что вы были бы где-нибудь в другом месте более подходящим, чем тут. Наступает вечер... здесь нечего уже делать.

– Но приказано, – произнёс я.

– Освободят вас, наверно...

Мастер угадал, потому что, действительно, прислали мне вечером приказ явиться в казармы.

Получив его, я задышал свободней, так как мне, бездеятельному, тут было скучно и стыдно сидеть со сложенными руками. По улицам летали казацкие патрули, так что с великим трудом пришлось мне пробираться, незацепленному, через них, потому что по дороге задерживали и допрашивали почти каждого.

Уже у казарм я нашёл русских солдат, как бы специально рассеянных, чтобы доступ к ним защищали. Наши офицеры тоже расставили стражу, чтобы не дать никому приближаться к казармам и шпионить. Когда я, наконец, сюда вбежал, обрадованный и счастливый, я нашёл всё в движении и спешном приготовлении. Но мы должны были делать это тихо, дабы не поднять преждевременно тревогу.

Было нас всех вместе не больше четырёхсот двадцати человек; мы имели четыре трёхфунтовые пушки, но без лошадей...

В залах, где были солдаты, все собрались около офицеров. Запал был огромный, простые люди громко клялись, что падут скорее трупом, нежели у себя оружие дадут вырвать, ибо им обещали, что москаля должны были разоружать... В городе ещё было тихонько... У нас с полуночи также немного успокоилось, потому что решающий час назначен не был и могло ещё что-то помешать; мы должны были ждать сигнала, когда ударят в колокола.

Часы тащились медленно... было четыре утра, когда мы сначала услышали со стороны Саксонского сада и Железных ворот выстрел из пушки. Тогда мы все одновременно вскочили, поняв, что уже начинается... Кони под пушки, амуницию, деньги у нас действительно были найдены и готовы, но нужно их было только собрать. Полковник Хауманн, капитан Мыцельский, майор Зайдлиц стояли уже в готовности... солдат рвался...

– К оружию! – разлеталось по казармам.

Была короткая минута замешательства, но она не продолжалась, солдаты бежали и вставали охотно в ряды.

Отправили отряд, чтобы как можно быстрее снял московскую охрану. А тут же... никогда в жизни не испытал я большего впечатления, все колокола в городе ударили в набат. У доминиканцев, паулинов, бернардинцев, у Св. Креста начали бить... сперва в самые большие, потом во все.

Едва начинался день... вокруг было темно. После первого выстрела тишина, потом далёкий, глухой топот и заглушённые крики и над всем голоса колоколов.

Почти можно было отличить, что зовут не на молитву эти колокола, что не стонут от жалости, что это ещё не триумф оглашают, но будят к обороне... Сперва медленно, несмело звучали, потом раскачались, разогнались, всё живей, горячее, словно чувствовали, что делают... казалось, кричат одним неустанным стоном: «*К оружию! К оружию!*»

Вдалеке просыпался весь город... а, скорей, разбуженный и ожидающий, встал в мгновение ока. В нас уже кипела кровь... Вдалеке слышались выстрелы и снова мощный голос колоколов... и крик, которого уже распознать было невозможно.

С зарёй мы выбежали из казарм в порядке. Подпоручик Сипневский, храбрый солдат, шёл в авангарде, так, что мог успеть. Нам казалось, что мы опоздали на голос тех посвящённых колоколов, что нам на стыд мировские драгуны и гвардия должны были опередить нас. Так мы дошли до Уяздовской улицы. С рассветом Сипневский сбоку в нескольких сотнях шагах заметил только московскую колонну с восемью пушками. А, так как она дала нам пройти беспрепятственно и оттого, что нам также срочно было попасть в город, мы не стали с ней связываться.

Так мы выбежали на Новый Свет... Закрытые каменицы, пустые улицы, в окнах редко где появлялась голова, наступал день... набат колоколен, а в городе мы уже слышали выстрелы и крики, и шум... Бьются.

Мы спешим. Око в око мы снова встречаемся с построенным кавалерийским московским эскадром полковника Баура, который, видно, не имея приказов, пропускает нас дальше. Миновав эскадрон, мы натываемся на толпу наших людей, но безоружных. Ремесленная челядь, слуги, мещане... с голыми руками.

Сипневский кричит:

– Летите к нашим казармам, найдите оружие и как можно скорей?

И в мгновение ока эта волна людей улочками расплывается к казармам. Мы так спокойно пробились аж к улице Святого Креста.

Здесь уже нужно было остановиться. На нас были направлены две пушки и московский полк перекрывал улицу, занимая всю от площади Броницкого до костёла отцов доминиканцев обсервантов.

Наше положение было совсем не милое, с тыла за собой мы оставили неприятеля и тут его имели перед собой... Нужно было пробовать ловкостью, если не силой. Крики в городе нас горячили, отбивались о нашу грудь, как если бы напрасный стон и крик: «Придите на помощь».

Полковник Хауманн выслал вперёд адъютанта Липницкого на разведку, какую силу мы имели против себя. Узнали от него, что человек около пятисот, построенных в каре, с восемью пушками под командой генерала Милашевича и князя Гагарина закрывали нам дорогу.

Хауманн отправил майора Гресена с заданием, чтобы нас пропустили в замок... но затем разошлась весть, что посла нашего арестовали.

Сипневский тем временем неосторожно шёл тесной улочкой Святого Креста, желая подойти к неприятелю со стороны и к дому, в котором была аптека Мисионарий. Он вынужден был, однако, отступить, потому что в слишком тесном проходе угрожала опасность и одного унтер-офицера из лучших наших стрелков убили.

Мыцельский, высланный с одной дивизией и одной пушкой, остался на Варецкой улице для обороны от нападающих с тыла. Мы стояли, как на иголках, не зная, что предпринять – когда по приказу или из нетерпения из одной нашей пушки дали огонь.

Едва разошёлся дым, когда москали в ответ дали выстрел и засыпали нас картечью, а так как мы стояли очень близко, многих из нас ранили и убили, началась паника, но также клич: «Вперёд, ради отчизны! На пушки! На пушки!»

Адъютант Липницкий и хорунжий Урбановский повели наших людей прямо на штыки, потому что быстро опомнились, но в минуты, когда уже собиралось дойти до сомнительной битвы, Урбановскому пришла отличная мысль, он спешился, отошёл и, побежав прямо на ворота доминиканского монастыря, выломал их, ведя за собой людей.

Хватило бы ему довести эту добрую мысль до конца, не знаю, может, защищался бы из двора – но тут схватил его за руку монах, стоящий в белой рясе, с воспламенённым лицом.

– Ради Бога! На башню! На башню, за мной! На башню!

Он сам побежал впереди, схватив карабин, Урбановский также и солдаты, сколько их было...

Хорунжий, оказавшись на втором этаже и осмотрев окна, в мгновение ока расставил стрелков.

– Огня! – скомандовал он. – Но только по артиллеристам, что у пушек.

Стрелки могли бы ласточек в полёте стрелять, как взяли цель – посыпались артиллеристы. Пули падали словно с неба и отвечать на них возможности не было. В рядах начался великий переполох.

Сипневский, пользуясь этим, под огнём неприятеля бросился со своими стрелками на ворота дворца Браницкого и тут же из-за стен начали поражать стоящих на открытом месте солдат Милашевича. Шло это так счастливо, что в нас вступил дух, мы построились как надлежит, одну пушку поставили на углу улицы Святого Креста, другую отвезли на Сулковское.

При первой из этих пушек obsлуга была ещё кое-какая, потому что Мыцельский заранее забрал артиллеристов, но на Сулковском, можно сказать, Господь Бог стрелял, не люди. Возле пушки было двое барабанщиков, которые только когда-то видели, как стреляют и заряжают, и четыре подростка лет четырнадцати под командой барабанщиков, любители с засученными рукавами, один от сапожника, другой от столяра, иной от слесаря. Те среди огня, пуль, трупов, смеясь и выкрикивая, хоть один из них пал, героически рисовались, аж душа росла.

Со мной, хотя пули свистели возле ушей, а одна пробилa пояс с патронами, до сих пор ничего не случилось. Сразу признаюсь, выдерживая первый раз в жизни огонь, после выстрела картечью я почувствовал дрожь в костях; но когда завязалась хорошая битва, всякая мысль о себе, об опасности убежала... горячка охватывала.

Чрезвычайное хладнокровие ума и мужество наших офицеров тянуло, можно сказать, за собой. Капитан Забильский с поручиком Витковским рвались вперёд и сдерживали людей, не давая им рассыпаться; давали огня и выдерживали огонь храбро, а тем временем, идя по примеру Сипневского, майор Зайдлиц с Монкейном с одной пушкой и маленьким отрядом протиснулся во дворец Ордынского, обошёл его и атаковал сбоку... а потом занял место под костёлом визиток; Ковальский также протиснулся до дворца Карася, Волынский же поддерживал Урбановского и выстрелы сыпались как град, со всех сторон.

Только иногда ухо подхватывало голос колоколов среди грома пушек и ружейной стрельбы...

Взятый со всех сторон полк Милашевича не мог удержаться в таком положении, хотя храбро защищался до последнего. Две пушки, канониров которых убили, остались на площади – смешанное каре в панике начало отступать. Видя это, Урбановский и Волынский

сбежались вместе, чтобы схватить пушки, и со двора дворца Малаховского закрыли убегающим дорогу. Со всех сторон окружённый неприятель, свернулся и начал уходить в самом большом беспорядке к саксонской кузнице.

Наши люди пошли в погоню и также рассеялись; победа была нашей, но следовало быть осторожными, потому что не с одним этим отрядом мы могли иметь дело. Мы не знали, что стало с оставшимися позади. Ударили, поэтому, на сбор, на порядок.

Собрав часть наших людей, Зайдлиц и Вольнский, через двор саксонского дворца и из ворот, ведущих на конский рынок, другие около саксонской школы для верховой езды на конском рынке ещё нападали на удирающих, которые рассыпались, уходя через дворы домов... Убили много людей... но и наших и самых мужественных пало много.

Раненого Милашевича забрали в плен, а князь Гагарин пал, мужественно защищаясь на площади. Уже был день – вид этих трупов, лежащих на улицах, этой чёрной крови на брусчатке, стоящей лужами, когда я остыл, на мгновение пронял меня какой-то болью, но запал был такой, что охватывал и вводил в безумие. Так давно наш солдат не стоил победы, за столько унижений и издевательств мы должны были отомстить.

Среди ночи, может, меньше впечатления производила битва, но в белый день представлялась ужасающей.

Во всём городе кипело... выстрелы и крики, и стон мешались в воздухе, дым клубами поднимался по улицам... колокола всё ещё били...

Так мы остановились в Краковском предместье... я случайно посмотрел на замок... тихо было около него, ворота закрыты, окна занавешены – как в нежилом. Когда мы собрались снова под дырявой хоругвью, потому что неприятельская картечь нам её испортила, меня с капитаном Забильским и Хуном, с хорунжим Урбановским выслали через улицу Пивна на Подвал для атаки с тыла дома Игельстрёма.

Мы встали тогда для штурма, ибо, действительно, дом был, как фортеция, со всех сторон укреплён и окружён самыми храбрыми людьми... Мы хотели высадить ворота, когда на нас посыпались пули, подпустив к ним, так густо, что первые минуты, не ожидая их, солдаты почти встревожились. Я заметил рядом с собой падающего капрала Коцежинского, у которого сбоку хлестала кровь, и в минуты, когда я к нему потянулся, почувствовал как бы укол в руку, а потом тепло в рукаве – моя недвижимая рука опустилась...

Я был ранен... А поскольку не хотел бросить своих товарищей, принялся перевязывать руку, когда меня солдат Скалецкий, схватив обеими руками, отбросил в сторону.

Мы также все отступили, потому что прямо на ворота нападать было невозможно; решили занять соседние дома... и из них добывать квартиру Игельстрёма.

Был прилично за полдень... Это время так для нас прошло, что казалось одним часом. Мы не знали хорошо, что делалось в иных сторонах города, но одно сражение, такое долгое, ознаменовалось для нас победой. Не переставало оно ни на минуту, скорее становилась всё более горячим, фанатичным, а город представлял картину, кто-либо видевший которую, не забудет до смерти. Ярость людей, дикое отчаяние московских солдат, которые, не в состоянии обороняться, нападали на дома, грабили, напивались и, пьяные, давали себя убить и повесить... суматоха и шум страшные, не шум битвы, но чего-то более жестокого, чем она – безумная неразбериха штурмом добываемого замка... представляли ужасающую картину.

Когда солдат оттянул меня, теряющего сознание от усталости и потери крови, от дома Игельстрёма, прежде чем потерял сознание, я заметил ещё Килинского во главе огромного собрания странно одетых людей, которые с хладнокровием направлялись к дворцу посла.

Вёл он не войско и не солдат, но что-то гораздо более страшное, чем они – толпу, опьянённую победой толпу, мстью, удивлённую счастьем и, несмотря на это, дивно серьёзную и послушную. Смотрели на вождя и шли за ним, как дети. Обнаженные груди, на которых видны были образки и медальоны, у некоторых в руке чётки при рукоятях палашей,

босые мальчишки, иные едва в рубашках и брюках, окровавленных и рваных, оружие, начиная от топора, до железных прутьев, раскалённых в кузнице, молоты, пилы и рядом старые карабины... какие-то тяжёлые, подхваченные в арсенале мушкеты. Среди старцев дети, подростки, женщины... даже евреи, студенты, ксендзы, всё это смешанное, сбитое и слитое в одно целое, которых только такая вековая рука отчаянья могла на время связать.

Этой последней картина представилась мне перед туманным взором; вскоре потом я видел только как бы серое облако, через которое проскальзывали тени, а потом темнота, среди которой пролетали молнии, в ушах звенели колокола, гул пушек и стоны умирающих.

* * *

Когда я открыл глаза, была ночь... я находился в тёмной комнате, сбоку бледным светом горел на стене факел... над головой висел чёрный свод, вокруг я почувствовал набросанную солому и рядом услышал тихий сон. Я не был один, нас на полу лежало несколько человек. В комнате царила глухая тишина, прерываемая то стоном лежащих рядом людей, то вдалеке криком и выстрелами.

Видимо, борьба ещё не закончилась. Я схватился за руку, в которой чувствовал боль, она была по быстрому перевязана, через бинт сочились кровь...

За дверью, открытой в другую комнату, тек светлым поясом более живой свет и ухо, прислушавшись, схватывало несколько приглушённых голосов, которые, казалось, живо совещались. Я с любопытством обратил глаза к дверям.

Почти в эти же минуты вошли три человека, бернардинский монах, несущий бельё и несколько бутылок, сгорбленный старичок ксендз и худой человечек, в котором я узнал давнего знакомого в городе медика Мутига. Увидев их, я поднялся на руке.

– Что там делается в городе? Ради Бога! – спросил я.

Монах приложил руку к глазам, смотря, откуда шёл голос, а Мутиг, узнав меня, видно, по голосу, воскликнул:

– А! Пани Сируц! И вы тут!

– Осмотри мне руку, ради Бога, – повторил я, – потому что я тут лежать не буду... и пойду.

– Куда пойду? Что за пойду? – прикрикнул старый бернардинец. – Едва тебя сюда принесли, а тебе уже срочно назад! Благодарю Бога, что где-нибудь под забором дух не испустил.

Мутиг, переступив через раненых, которые также начинали громче стонать, пришёл ко мне. Ксендз светил. Подняли мне руку... она висела как онемелая. Пуля, повредив кость, безжалостно потрепала связки и мышцы, утекло много крови... рана была отвратительная. Медик кивал головой и бормотал.

– Что же делается в городе? – спросил я настойчиво. Старичок похлопал меня по плечу.

– Ещё бьёмся, но, благодарение Богу, нет сомнения, что победим. Игельстрём собирается бежать, город в наших руках, несколько тысяч трупов на улицах, несколько тысяч пленных под стражей мещан.

– А король? – спросил я.

– Нейтрально спрятался в замке! – рассмеялся бернардинец. – Но пережил невесёлую минуту. Мы смотрели на то, как его гвардия из замка убегала в город, как он выбежал, дабы её задержать, и как его Лещинский задел, убегая, и сказал ему, я слышал, хотевшему остановиться, что его зовёт родина и на голос её глухим быть не может.

– Стало быть, мы победили! – воскликнул я радостно.

– Да! Да! – подтвердил старик. – Лишь бы только пруссаки к нам в Варшаву не впились. Отдыхай и будь спокоен!

Мутиг тем временем руку мне резал и зашивал и обходился с ней по-варварски, но у меня в душе была такая радость, что я почти не чувствовал этой боли. Хотя со времени выхода из казарм я ничего во рту не имел, какой-то неведомой силой я держался, не ведая о голоде.

В голову мне пришли Манькевичи, а сразу за ними Юта. Что с ними? Что с ней делалось? Трудно мне было отдыхать тут в бернардинском госпитале, имея приют в другом месте.

– Отец мой, – обратился я к старику, – у вас тут есть и ещё будут кого пеленовать; я, благодарение Богу, имею тут недалеко кровных и пристанище, зачем занимать необходимое другим место? Отпустите меня...

– Куда? – спросил старик.

– На Медовую улицу, – ответил я.

– А там ещё русские защищаются и сквозь выстрелы и огонь пройти нельзя.

– Нет, – сказал Мутиг, – на тылах один огонь... кажется, что уже Игельстрёма выкурили и сражение около дворца Шптей.

– Если бы мне кто-нибудь помог идти, – отозвался я.

– Лежал бы, сумасброд! – буркнул старый бернадинец. – Тебе ещё нянька нужна и бинты...

Я устыдился, но суровый тон старца немного меня задел, он почувствовал это, видно, и сразу смягчился.

– Ну, ну, – сказал он, – будь терпеливым, всё постепенно сделается. Тут первая вещь – спасти как можно больше людей, нет времени баловать.

Я вынужден был молчать. Во время перевязки медик меня измучил, но конец концов, стиснутая рука казалась мне больше моей – чувство возвращалось. Я решил попробовать хоть подняться с послания, и достиг этого. Ноги мои качались, но я стоял... Я посмотрел на себя... Выглядел ужасно. Мундир был пошарпанный, порванный, перепачканный, прострелянный... местами висели из него вырванные куски... холод ходил по моим костям.

– Отец мой, – отозвался я, опираясь на палаш, который нашёл при себе, – отец мой, я с четырёх часов утра ничего во рту не имел.

Бернардинец что-то забормотал.

– Что же я тебе дам, дитя моё? – спросил он, глядя на медика. – Рюмочка вина не повредит.

– И кусочек хлеба, – прибавил медик, – солдату не повредит, потому что о бульонах нет речи. Второй день, как, наверно, уже во всей Варшаве ни одна хозяйка не оставила на кухне ничего, только, пожалуй, испуг для его величество короля.

– Этого пани генералова должна была бы, пожалуй, как ребёнка, с ложечки кормить, – сказал бернадинец, – потому что сам бы её в руке не удержал, такого ему страха нагнали... А имел гостей до чёрта, потому что все предатели, какие были в городе, все под его крылья пошли прятаться. Ожаровский, Анквич, Можинский, Забелло, Коссаковский, Масальский... все там сидят... хорошо, что их известно, где искать.

Поставив фонарь, ксендз пошёл за вином и хлебом; я сел к нашедшемуся столику. Я нашёл еду и даже тарелку бульона, с прошлых дней, видимо, припрятанного.

Каким мне это всё выдалось после долгого голода – описать этого не сумею; никогда в жизни ни одно яство и напиток не казались мне такими вкусными, такими чрезвычайно ароматными и отличными. Я чувствовал, как моя кровь начала живей бегать по жилам, как в меня вступила сила. Я мог уже смело идти. Я встал, чтобы поблагодарить старичка, поцеловав его руку. Он смеялся от радости.

– Ты, правда, собираешься? – спросил он.

– Ничто меня не задерживает, только рука болит, а пролежать бы не смог, – ответил я, – пойду.

Он молча перекрестил меня и проводил, запалив фитиль, до калитки.

Начинался день... Был утренний час, но город ещё весь был в движении и слышались выстрелы. Здесь, около бернардинского монастыря и замка мне показалось пусто. В замке в двух окнах за шторами был виден бледный свет... Излучение как бы от потухающего пожара распространялось по Медовой и Святого Юрака. Иногда среди них блестело живей и глухой гром разлегался по ним, словно окрик толпы... то выстрелы ручного оружия сыпали градом и умолкали... Туча чёрного дыма, разложившаяся широко, как тяжкий саван, подшитый пурпуром, растянулась над городом. Опираясь на саблю, я медленно шёл дальше, направляясь к Медовой. Приближаясь к ней, я начал спотыкаться о трупы. Они лежали чёрными кучами, только восковые их лица издали светились, как бледные пятна. Русские солдаты, мальчишки и ремесленная челядь, женщины в порванных платьях лежали вместе. Кое-где в водостоки стекала чёрная кровь и стала густеть, покрытая пеной.

В некоторых каменицах окна были повывломаны, ставни висели на крючках, потрескавшиеся ворота повалились на брусчатку... Видимо, прошли здесь русские и оставили после себя пустошь... перед одним из домов выкаченные и разбитые бочки, из которых вылилась водка, отдавали запахом спирта, смешанного на земле с грязью и кровью.

У одного магазина стоял труп, который хотел его, видимо, защитить, пуля попала ему в голову, он осунулся только и, костенеющими руками схватившись за дверь, так и застыл. Вид был страшный, кровавый, болезненный... я отворачивал глаза, но куда я их поворачивал, встречал людские тела и многие из них были уже донага раздеты. На одном фонаре висел труп и раскачивался ветром, а железо под ним скрипело. Темнота медленно уступала дневному рассвету...

Я дошёл до дворца Игельстрёма... нашёл его в руинах, остатки горели. Вокруг стояла группа людей, иные что-то доставали из пожарища, напротив был открыт костёл капуцинов, а лестница была устлана трупами русских.

Повсюду чернели стены торчащими в них пулями, кусочками осыпалась с них штукатурка, окна были поломаны, щепки лежали на тротуаре, по которому из-за трупов пройти было трудно. Запах гари делал воздух удушливым, чёрные куски сгоревших бумаг ветер нёс от дома Игельстрёма и почти устилал ими дорогу. Станные стоны доносились из подвалов под домами. В доме сапожника, где я недавно имел убежище, на пороге лежала мать, прижимая к груди убитого ребёнка, труп другого прижимался к ней... кусок стены лежал обрушенный на тротуар.

Со стиснутым сердцем спешил я в дом Карася к Манькевичам, тем более встревоженный, что как раз на Медовой, из соседства посольства, был наибольший ущерб.

Уже издали увидев забаррикадированные ворота, я вздохнул легче. Фасадная стена была прострелена, окна побиты, но вход был заперт. Железные ставни внизу были также нетронуты... Я мало имел надежды достать до каменицы, однако же, опёршись о стену, начал стучать. Старый сторож привык узнавать меня по масонскому стуку, которому я его научил. Я бессмысленно повторил его несколько раз, находя, что крик был бы напрасен. Зарешечённое в воротах и изнутри окошко было закрыто... его открыли.

– Кто там? – спросил старый Филипп.

– Я! – ответил я слабым голосом. – Живы ли? Ничего с вами не случилось?

Вместо ответа отворилась калитка, Филипп впустил меня, не говоря ни слова, и тут же запер. Во мраке я увидел руки на прикладе и расплакался.

– А Манькевичи? – спросил я.

– Господь Бог нас сохранил! – шепнул Филипп. – И только Он, потому что с тыла были москали и грабили; трёх человек убили, а одну женщину порезали саблей... но времени не было сюда достать.

Обняв сторожа, я направился к двери деда.

Не забуду также никогда и того вида, какой меня поразил, когда я, впущенный в комнату, вошёл в покой деда. Старик лежал на кровати со сложенными руками, в которых держал чётки. Знать, готовился в любую минуту к смерти, так как имел на груди крест и в руках медальон. Немного подальше с жёлтой громницей в руке, обвязанная поясной лентой, спокойно стояла на коленях старушка Манькевичева у стула, на котором была раскрыта толстая книга, и проговаривала невзволнованным голосом литания к патрону доброй смерти, св. Иосифу.

Когда двери потихоньку отворились и я показался на пороге, пани Манькевич повернула глаза, заметила меня, но не прервала молитвы. Я стоял, они проговаривали её аж до антифоны, старичок тихо повторял:

– Молись за нас!

Только после окончания литании старушка встала, опираясь о пол, и воскликнула:

– Слава Иисусу! Сируц жив!

Дед, который думал, что вошёл слуга, головы не поднял и не видел меня, вскочил с кровати и крикнул:

– Сируц, дитя моё! Ты жив!

Я пошёл поцеловать их руки, только сейчас они увидели окровавленную руку на перевязи и порванный на мне мундир.

– Ты ранен, бедняга! – воскликнула старушка. – Рука... что же? Сломана...

– Благодарим Бога, что живы! – ответил я. – Мы пережили страшные минуты.

– Дитя моё, – отпарировал старик более спокойным, чем раньше, голосом, – это было не то, что тебе, биться и, защищаясь, подвергать себя опасности, но нам тут, безоружным, столько часов неизбежной смерти ожидать пришлось и слышать её, ходящую вокруг... пробирающуюся в дом, долбящую в дверь, штурмующую ставни, отдаляющуюся на минуту и возвращающуюся снова... и ждать, и молиться – и чудом уцелеть...

Голос ему изменил, отдышался и говорил далее:

– Кто же знает? Вернутся, может, ещё, и тогда месть их не будет уважать никого.

Выстрелы, слышавшиеся в отдалении, этим словам старого Манькевича придавали некоторое правдоподобие.

– Выгнанные из города, они свяжутся с пруссаками, ударят на нас... вырежут нас в пень... это несомненно! – добавил старичок.

– Нет, – сказал я, – нечего опасаться, большая часть русских в неволе, до трёх тысяч лежит трупами на улицах. Не с одним войском мы это делали, но с народом: не пушки с ними справились, но толпы... геройские толпы.

Старик покивал головой, а был он шляхтич до костей.

– Ну, ну, – сказал он тихо, – когда уж до того дошло, что сапожники родину защищают – конец света.

Я должен был мимовольно улыбнуться. Был уже добрый день и через щели ставен пробивался бледный утренний свет, но из страха нападения мы не смели отворять – и сидели при громнице.

Я начал рассказывать, что видел, на что глядел и как мы бились. Тогда старичок ожил, в него вступил дух, он встал с кровати и начал ходить. Манькевичева готовила кофе. В городе как-то понемногу успокоилось, по крайней мере, выстрелов уже не было слышно и редко только тянущаяся с поля боя кучка людей окриком прерывала тишину.

Высланный на разведку Филипп, через несколько часов объявил, что в городе было всё окончено, только наводили порядок, так как из-за трупов и мусора ни пройти, ни проехать было нельзя. Поэтому мы открыли хоть одну боковую ставню, дабы погасить громницы. Старшие пошли спать и я с помощью Филиппа взобрался наверх в свою комнатку, где, упав на кровать, заснул каменным сном даже до воскресного утра. Я не мог ещё подняться с кровати и выйти, хотя очень горячо желал увидеть «свободный» город, как его в своём отчёте назвал Закревский... город для нас новый, потому что мы, молодые, не знали его таким свободным, как был теперь. В первые минуты, разгорячённый, я имел больше сил, теперь они покинули меня. Позванный доктор прописал мне отдых и руку также, поначалу плохо перевязанную, следовало забинтовать ещё раз, разрезая и сшивая, что меня измучило и ослабило. Я имел позволение с помощью Филиппа сойти к Манькевичу и там посидеть несколько часов.

Сюда теперь при самом патриотичном расположении сбегались слухи со всего города. Камергер, который на чердаке в одном из домов на Долгой улице тулился около трубы, счастливо пересидел революцию – вернулся к прежним обязанностям, скромней только был одет, потому что весь его гардероб, вещи и – как говорил – пресиоза пали жертвой ненасытной жадности неприятеля. Позже из его собственных признаний оказалось, что эти драгоценности шамбеляна состояли из пятнадцати локтей золотого галона, который должен был когда-нибудь быть использован, из серебряной табакерки и пряжек от тревиков, украшенных чешскими камнями.

Но – что для него было гораздо более тяжёлым – бедняга потерял наряды и парики, так что его только один, и то очень старый, который имел на голове, защищал. Также он очень переживал о потере шёлковых чулков, хотя изношенных внизу, но сверху презентующих себя очень свежо.

Камергер уже снова знал всё, обнимался с Высоготой Закревским, навещал Мокроновского, имел счастье поговорить с героем Килинским, с д'Алоем и Вульфферсом. Он первый донёс нам, что Коссаковского, Ожаровского, Анквича, Томаиса, Боскампа и многих иных арестовали и заключили в арсенал и ратушу...

В замке был неслыханный переполох, потому что нескольких из них взяли из-под бока короля. Понятовский клялся, что уже держался с народом... после победы патриотизм рос огромно... все старались донести, что ещё 16 апреля, а точнее 22 марта были патриотами и не ждали ни Костюшку, ни Килинского, чтобы проникнуться тем чувством.

О русских говорили, что они собирались около Магнушёва под командованием генерала Новицкого. Манькевич расплакался, узнав о революции в Вильне, взятии Арсеньева и повешении гетмана. Эта новость в замке была жестоким ударом – позорная смерть, революционный мгновенный суд перепугали короля, а ещё больше, заключение под стражу его приятелей. В замке играли в патриотизм и популярность, но по насупленным лицам видны были отвращение и ужас.

Только 24 апреля на торжественное богослужение, которое должны были провести в коллегии у костёла Святого Иоанна, доктор мне позволил пойти.

Первый раз я взглянул на улицу.

Варшава была дивно переменившейся... Карет на улицах почти видно не было, кроме экипажей примаса и президента Закревского. Мундиры, вооружённая городская стража, свободно колышущаяся толпа, царили на них.

Я сразу, выйдя, услышал разлетающуюся, везде повторяемую песнь краковских добровольцев, которую тянул почти весь город. Ещё в моей памяти блуждает несколько строф.

Как долго мы будем давать себя угнетать?
Дальше, братья, за оружие!

Кто хочет умереть или победить,
Тот всегда почти побеждает!

Это была последняя строфа, но меня в ней эта вставка для меры почти как дисгармоничная нота поражала. Был там ещё иной куплет, который также застрял в моей памяти:

Рассудительные умеренные!
Сторонники севера!
Кто же вам открыл дворы?
Но нам никто не даст помощи...

Господствующим элементом на улице были, как я уже говорил, мещане и военные, из высшего общества мало кого можно было встретить. Кое-где из любопытства показывались из окон для безопасности в народных цветах – белым с кармазиновым.

В этот день толпа была чрезвычайная, потому что и прекрасная пора служила и богослужение за убитых тянулось к коллегации, а кто хотел показать себя патриотом, должен был там быть. Поскольку в первые дни все побросали ордена, король принял это за признак якобинства и требовал, чтобы понадевали титулы, кресты и звёзды, оделись все по-старому.

Костёл Святого Иоанна был весь выстлан чёрным. Моей руке на перевязи я был только обязан тем, что в него втиснулся. Посередке находился красивый катафалк, увешанный лавровыми венками с надписями:

«Не забывайте доброго дела, ибо они отдали за вас свою душу».

«Память о них будет благословенна, а кости их зацветут на своём месте».

«Они предпочли скорее умереть, нежели поднимать ярмо и терпеть кривды, недостойные для своего рода».

«Души и тела наши мы выдали за права отеческие, взывая к богу, чтобы как можно скорей был милостив к нашему народу».

Среди навешенных посередине лавровых венков читали ещё иные надписи: «Ушли из жизни, но всему народу памятку смерти своей на пример добродетели и мужества оставив».

Сам примас, которого сильнее всех заподозрили в содействии Москве и даже в тайном сговоре с пруссаками, совершал торжественное богослужение. Известный по речи и патриотизму ксендз Витошинский имел огненную проповедь. Король был присутствующим и на виду.

Витошинский среди своей речи не колебался обратиться к королю, дабы как-то втянуть его в народное дело. И так, как того памятного дня 3 мая 1792 года в костёле Св. Креста король произнёс речь, так и тут отвечал Витошинскому.

– Твоё сердце – честное, наияснейший пане, – сказал бернардинец, – ты не покинешь народа».

На что король с трона ответил:

– Да, не покину, с моим народом хочу жить, с народом умереть!

По костёлу пошёл ропот, но так ли особенно верили в эти слова, трудно предположить. Король столько раз менял убеждения, что уже перевёрнутой хоруговке никогда удивляться было нельзя.

И в этот день и в следующие король начал показываться на улицах, довольно симпатично приветствуемый, но, несмотря на это, другие с недоверием смотрели на эти поездки, потому что были не бесплодные новости, что он хотел выскользнуть из объятий якобинцев, а Варшава боялась, чтобы, когда её оставит, не была выдана на жертву и месть. Поэтому неизменно следили за королём, а горожане сами справляли видимую и невидимую охрану.

Выйдя из костёла, когда толпа расплывалась в разные стороны, меня кольнуло пойти доведаться к Юте. На самом деле, я не имел никакого права на эти посещения, но глубоко в моём сердце осталась память по ней, а я не знал, как она вышла из этих кровавых дней, в которых, подвергая себя опасности, легко могла пасть жертвой.

Я сначала немного заколебался, но, оправдываясь сам перед собой, что всё-таки криминала не совершу, посещая её, пошёл.

В Старом городе, особенно около ратуши, было очень многолюдно и шумно, я как-то протиснулся, глядя в окна каменицы, но в них ничего видно не было.

Такая же тишина на лестнице... я подошёл к двери и смело постучал.

Ждал я довольно долго, пока не послышалась знакомая мне походка старой Ваверской. Она посмотрела в окошко и вскрикнула. Дверь сразу отворилась, она лучше приветствовала меня лицом, чем я ожидал.

– Вы живы, слава Богу, – сказала она без недомолвок, – а нам тут говорили, что вы на Медовой около дома Игельстрёма пали.

Только сейчас она увидела руку на перевязи и моё побледневшее лицо, кивнула головой – тяжело раненый.

Мы вместе пошли в третью комнату, челяди не было живой души. Тут у окна сидела Юта, а когда я вошёл, она зарумянилась и подбежала ко мне, подавая обе руки.

– Вы живы! Спасибо Провидению! – воскликнула она. – Мы вас оплакали.

Ещё в её глазах стояли слезинки, устыдившись которые, она быстро вытерла фартучком.

– А я беспокоился о вас, – сказал я, – потому что вы подвергали себя, а не каждому Бог дал выйти целым из этой жестокой битвы.

– О! Это правда! Это правда! – вздыхая, прервала Ваверская. – Что я вытерпела, Бог мне один зачтёт. Однако же Юта в четыре часа утра не была ещё дома, а потом, когда вернулась, я не могла её удерживать. Была в арсенале, носила в фартуке пули! Ей-богу! Платье в двух местах прострелено, чудо Богородицы, что её увечье не встретило...

Юта, как бы устыдилась, закрыла лицо рукой и посмотрела в окно, вдруг повернулась ко мне вся покрасневшая.

– Кто пережил эти дни, у того они до смерти будут стоять в глазах! Не правда ли? – спросила она. – Такое что-то жестокое, страшное, красивое, пожалуй, на свете ещё не бывало! А бились наши, как львы! Какой-то дух в них вступил! Я смотрела и плакала... Боже мой! Наш Флорек, челядник...

– Такой вялый, – вставила мать.

– Окровавленный, порезанный, рвался на стену дворца Игельстрёма, как лев... я глазам не верила, дети переменялись в героев. Под воротами двенадцатилетний мальчик, подмастерье слесаря, с железным прутком в руке крутился на моих глазах... его взгляд горел. Пошёл... Посыпались пули, схватился за грудь и упал. Я подскочила к нему, подхватив голову, он обратился ко мне глаза... улыбнулся, поднял руку.

– Пусть живёт свобода! – выговорил он и скончался.

Юта плакала, слёзы Ваверской струились из глаз и мне хотелось плакать.

– То же самое, – сказал я, – я видел под Доминиканами, на Сулковском... тогда также Бог дал победу.

Женщины замолкли.

Успокоившаяся Юта выглядела бледной и исхудавшей, видно на ней было великую усталость и как бы лихорадку.

– Всё это хорошо, – добавила после нескольких минут разговора мать, – но уже сегодня, когда мы своё сделали достаточно, нужно вернуться к работе и прошлой спокойной жизни... а то бы человек сгорел от этой горячки... Я слышала, что пан Кишинский от совещания к

совещанию приглашаем и что командует солдатами... а я бы на его месте к шилу и дравке воротилась. Он там ничем не поможет, но ни они его, ни он их не поймут и только достойный человечешко накусается... а с костями это честно и хорошо.

– Э! Матушка! – отозвалась Юта. – Это не конец, а кто же будет валы насыпать? А кто же охрану замка удержит, чтобы король не убежал? Солдат мало... это наше дело...

– Только не твоё, – прервала мать. – Нам, бабам, за горшками следить.

Юта рассмеялась, пожимая плечами, и посмотрела на меня. Я беспрерывно глядел на неё, не в состоянии оторвать глаз.

– Мой поручик, – сказала она, – я теперь понимаю, как можно набраться дурной привычки и почему старый Яковский, хоть ему доктора смертью грозят, к шинке тянется. Однако это меня также тянет на улицу, к той беготне, к которой в течении нескольких недель привыкла. Чего-то мне не хватает... рада бы снова пули носить и подкрадываться, и обманывать русских, которых, слава Богу, нет... и вот... чего-то мне скучно...

Мать нахмурилась.

– Не плела бы глупости! – сказала она хмуро. – Ещё чего, хорошо, что это раз окончилось... день за днём от страха по тебе умирала, по крайней мере, вздохну свободней.

Не подобало мне слишком затягивать посещение, хотя они были ко мне более вежливыми, чем я ожидал. Особенно Юта. Несколько раз я поймал её взгляд, покоящийся на моей больной руке.

– Кто вас перевяжет? – спросила она, когда я уже собирался прощаться.

– У меня там есть медик, – сказал я.

– Он, должно быть, не очень мудрый, – прибавила она, – потому что вы выглядите ужасно похудевшим, а мужчине, если он собирается жить, необходимо иметь силу, потому что биться должен...

– Я тоже ожидаю вскоре вернуться в ряды, – сказал я с улыбкой, – рукой буду владеть, только бы получше стало. Действительно, было сомнение, не утрачу ли я владение рукой, что бы меня калекой сделало, но я из того страха вышел. Я начал прощаться, старуха имела дела и ушла. Более весёлая Юта проводила меня к двери.

– Мне вас очень жаль было, – сказала она, уже подходя к двери, – когда нам поведали, что вы убиты. Верьте, – она заплакала, – так легко подружиться и привыкнуть можно, а потом кажется, что человек уже и не обойдётся без приятеля.

– А! Как же вы меня... ошастливили, панна Юта, – ответил я, целуя ей руку, – этим добрым именем приятеля. Вы заплатили мне за рану.

– За рану? – подхватила она. – А, нет. Родина заплатит за кровь и рану, а я плачу вам за то, что не были непостоянным, что умели уважать меня и что лесть мне не говорили, как другие, которой не верю!

Я сильно покраснел и мы попрощались как брат и сестра. Двери закрылись.

Дом Манькевичей, в котором меня ещё держала моя рана, стоял теперь настоящим сборищем новостей. Старик сидел, принимал, пускался в политические и стратегические конъюнктуры, а сюда ему люди корзинами и мешками приносили непридуманные истории. Признаюсь, что меня эта напрасная болтовня людей, что сами ничего не делали, а остро судили о тех, которые за что-либо брались, неизмерно мучила. Я сидел молча. Манькевич, по-видимому, мне это за зло считал. Я заметил, что на короля обращали чрезмерно усердное внимание. Действительно, несмотря на его патриотичные заявления, несмотря на жертвы серебра и драгоценностей на нужды родины, несмотря на громкие прокламации – нельзя было заметить, что революции, принимающей всё более угрожающие размеры, способствовать не мог. Несмотря на удерживаемый порядок и какую-то такую субординацию, народ и мещанство брали верх... между шляхтой и панамы в ближайшем окружении короля указы-

вали явных предателей, а бумаги Игельстрёма доказали их собственными подписями, что получали пенсии от России.

Сам король насчёт шести тысяч дукатов, с которых дал расписку, должен был объясниться. Мещане, которые ежедневно ходили в замок на охрану и сидели в королевских покоях, выполняя якобы функции временных камергеров, несмотря на уважение к н. пану, ему вовсе не доверяли. Ночами расставляли их по замку и они не спали.

Знали с самой большой точностью, что семья короля, испуганная обвинениями, какие вызвали регистры Игельстрёма, обязательно хотела его вырвать из рук революции. Подготавливали к этому народ таким образом, что король каждый день проезжал дальше... и хотел освоить с этим варшавян, а однажды пуститься за Вислу и отдать себя в руки отрядов русских или пруссаков.

Преимущественно примас должен был заниматься всем этим планом и, возможно, также намеревался бежать. Как об этом доведались, понять трудно. Быть может, что среди королевских слуг в замке были доносчики. Достаточно, что в ратушу приносили всё более новые предостережения, а Рада, там заседающая, оттолкнуть их не могла.

Не раз я заключал из людских рассказов, зная о судьбе короля Понятовского, что несчастней него человека на свете, по-видимому, не было.

На вид он имел всё, что нужно для счастья, а в действительности царствование его было долгим мученичеством.

Мучили его свои, чужие, друзья, семья. Те, с которыми он был в лучших отношениях, как великий гетман, как счастливцев, отблагодарили его самым жестоким образом, Россия, которой он благоволил, презирала его, послы кормили унижениями, а если был когда-либо в более страшном положении, то во время революции 1794 года. Каждый шум на улице, казалось, свидетельствует о последнем часе. Со времени его похищения конфедератами король постоянно говорил, что чувствует, что не умрёт естественной смертью, что его ждёт судьба Карла... Никогда это ложное предвидение не казалось более правдоподобным, как в это время.

Из всех своих врагов король больше всего должен был бояться тех, которых восстановил против себя. Никогда он не любил Коллонтая, а со времени Тарговицы он с ним полностью порвал, не хотел сохранять никаких отношений. Теперь стечение обстоятельств давало ему в руки влияние и силу... а король дрожал, чтобы не использовать её для мести.

* * *

В первые дни мая началось уже с всё большим наплывом особ всех сословий насыпание валов вокруг города. Правительство поощряло к этому, народ имел охоту, а легкомысленные люди, как из всего, сделали из этого всего патриотичную забаву. Была это, действительно, прекрасная картина... если бы сейчас, виденная издали, не казалась почти грустной. Все, кто жил в городе, а даже и высшие классы, притянутые новостью и разогретые патриотизмом, текли с заступами, лопатами, тачками на весь день для насыпания валов: женщины, подростки, дети, ксендзы, мещане, паны, даже сановники Речи Посполитой.

Обычно собирались целые такие банды с музыкой, на возах везли лопаты, бочки с вином, пиво, снедь, лакомства, потому что без пирования не обходилось, и при отзвуке патриотичных песенок тянулись нарядные группы на окопы, женщины имели соответствующую одежду, коротенькую, соломенные шляпы, царила как можно большая весёлость, смех и шутки... но работы много не было. Полдня отдыхали, несколько часов подкреплялись и танец на траве не был беспримерным.

То только было красивым в тех походах, что тут царила никогда ещё не виданная гармония и прекрасные пани представляли фон лопат рядом с оборванцами, а сенаторы вместе

с мясниками. Что там потом вечерами у сенаторов смеялись над мещанами, а у мещан над панями и их окружением, это очень может быть, но на окопах приязнь была самая нежная.

Из полных бочек паны поили бедняков, а за это, хотя лопатой потом не много достигали, никто ничего не говорил.

Мне кажется, не было тогда в Варшаве здорового человека, что бы на окопах не был. А кто не копал, шёл или ехал смотреть. Те, что иногда работали, приглашали зрителей... тогда, рады не рады, шли зрители на время к тачкам. В этом всё было больше фантазии и смеха, чем работы, – зато настоящих платных работников днём и ночью под строгим надзором – не хватало.

Даже король несколько раз ездил к окопам и, желая дать доказательство патриотизма, прикатил тачку песку. Давали ему «Браво!» как в театре. Когда выезжал на прогулку, однако же, хотя бы на эти окопы, посматривали на него издалика. Во всех застряла та мысль, что король хочет сбежать и что тогда Москва оккупирует город и обратит в кучу пепла. Нельзя сказать, что это рассуждение могло быть совсем нелогичным.

Мне кажется, что 8 мая, в самый день св. Станислава и меня взяла фантазия, хотя с рукой ещё на перевязи, пойти на окопы. Не буду того утаивать, что стимулом для меня был шпионаж, потому что Юта также выпросилась у матери пойти с лопаткой. Взяла она с собой двух подруг и они полетели. Я очень хотел её увидеть, побежал также. Она выбралась не рано, потому что мать сначала не позволяла; я также, только позднее узнав от челядника, которого встретил на улице, пошёл. Юта была на Праге... Едва я прорвался через мост и нашёл то место, где она стояла, чтобы ей помочь... едва я имел время поздороваться, мы слышим на Праге и от города, как бы тревогу. Мы смотрим – собираются толпы, летят, шум, крик, замешательство... словом, нет сомнения, что-то произошло.

Я посмотрел на Юту, она стояла как в огне, бросила лопату, уставила глаза на другой берег, вся дрожала.

– Пойдём, – сказал я, подавая ей здоровую руку, – посмотрим, что это...

– Пойдём! – крикнула она, но не принимая руки; с горящим взглядом пустилась она как стрела к городу, так, что я едва мог за ней поспевать – дыхания не хватало. На Пражском мосту трудно было протиснуться. Мы спрашиваем, что случилось.

– Король хотел сбежать...

Другие кричали: «Предатели с пленными хотели сбежать. Предателей нужно перевешать... Смерть предателям!! Народу и родине – справедливость!»

Эти крики нас заглушали... Юта бежала бледная, но я не мог её остановить.

Уже за мостом мы заметили возвращающийся королевский кортеж, величественно медленно приближающийся к замку. Неизмерно бледный король, улыбаясь, неловко кланялся на все стороны. Народ кричал: «Виват король!» Но больше кричали: «Смерть предателям!» А так как короля в то время считали чуть ли не за врага, можно себе представить, какое впечатление могли произвести на него эти крики.

Нет ничего более страшного, чем народ, хотя бы самый благородный и самым честным чувством воспламенённый. Импульсивность одного есть беспамятной и дикой; что же, когда тысячи скреплены одной цепью и в грудь каждого вольется сильнейшая порывистость тысяч! В то время не люд это, но море, волны которого бьют о берега, несдерживаемые, уничтожая, что встретят в беге. Такой была толпа этого дня. Одни здоровались с королём, другие подходили к коням почти с угрозами. Показывали кулаки, король кланялся.

– Пусть живёт король! – кричали придворные.

– Да, пусть живёт, но пусть не убегает!! Как похороны, медленно тянулась королевская кавалькада, глазами пожирая замок, порт спасения.

Мы видели её всё поспешно направляющуюся к воротам и внезапно вбегающую в них. Народ остался на площади и улицах, бормоча, крича и метаясь, раз к замку подплывая, то снова под ратушу в Старый город, где почти постоянно заседала Рада.

Окрики, как выстрелы, долетали из той толпы, на такой окрик отвечало молчание и издалека мы улавливали только голос оратора, который, стоя на камне, лавке или бочке, что-то говорил народу и гражданам. При непрекращающемся под вечер оживлении было очевидным, что причиной его был вовсе не отъезд короля, но что-то иное. Из других побуждений возникло это волнение, потому что, как рассказывали сами мещане, далеко от замка и пражского моста взорвались в окoliцах в нескольких местах одновременно арсеналы, друг с другом вполне не будующих в связи.

Позже оказалось, что служащий Анквича был причиной всего этого шума и возникших из него несчастий. Закрытые в арсенале и пороховых пленные беспокоились за свою судьбу. Они напали на мысль спасения побегом, пользуясь возникшим замешательством в городе: старались его искусственно вызвать.

Распространили тогда весть о побеге короля и нападении пруссаков на Варшаву, чем легко ещё кипящий после последних событий люд разволновать было можно.

Анквичу, однако, не удалось сбежать, потому что стража возле тюрем была бдительная, а народ, постоянно терзаемый мыслью, что предатели могут вырваться, обратился сразу к ним и начал вызывать на них кару и справедливость.

Поэтому то, что их освобождение должно было принести, бесконечно ухудшило их положение. Около арсенала, возле ратуши, перед замком скопились толпы, наполняя улицы, крича в один голос: «Смерть предателям! Смерть предателям!»

Вид этой возбуждённой и всё яростней настроенной толпы был действительно страшный. Молчащая Юта ловко протискивалась, я шёл за ней, не зная, что с собой делать и опасаясь за неё. Однако она совсем не казалась мне встревоженной, не разделяла чувства, которое метало толпами, была грустной.

Нахмутив брови, она мне шепнула:

– Что-то плохое готовится... кто-то сделал эту суматоху... в этом чувствуется рука неприятеля.

Около ратуши я встретил Килинского, задумчивого, обеспокоенного, который крутил усы, поглядывая то на люд, то на ратушу. С одной стороны его тянули, чтобы успокоил народ, имея над ним преимущество и доверие у него, с другой стороны голос братьев говорил ему, словно его собственный голос. Не рад был и он давать волю предателям. Юта подбежала к нему, хватая его за руку. В эти минуты она имела больше самообладания, чем все.

– Пане Килинский, – воскликнула она, – поговорите и постарайтесь успокоить их. Ради Бога! На что это пригодилось!

Над предателями будет суд, ведь он назначен... а хотя бы его и не было, мы не имели бы в глазах людей того пятна, что наша земля предателей родит! Мы должны хвалиться и провозглашать, что столько их среди нас? Мы должны мстить за себя?

Килинский посмотрел на неё и покивал головой.

– А за кудель, любезная панна! – воскликнул он. – А за чулки! Будешь ещё учить разуму! Милая вещь! Что ты понимаешь в высшей политики... Тут, ваша милость, сук, сук... тут, на наших головах и плечах, милостивая панна, будущее... тут нужно знать: или сдерживать, или отпустить... гм!

– Не учите честных людей жаждать крови! – воскликнула Юта. – Написано: «Не убий...»

– Тихо, а то ещё допросишься, что кто-нибудь примет тебя за москвичку, – сказал Килинский. – Вот и будет тебе, сударыня, не убий.

– Пусть судьи судят, не вы... и пусть палач, не вы, убивает! – прибавила Юта.
– Хорошо, хорошо! – рассмеялся Килинский. – Но иногда народ, сударыня, должен быть и судьёй, и палачом... нет на то рады... нужны примеры...

В эти минуты Юту и меня толпа отбила от Килинского. На бочке под ратушей стоял молодой человек, блондин, и охрипшим голосом начал взывать о справедливости и каре злоумышленникам. Слушали его с напряжением, только иногда прерывая его криками, а его речь снова так горячила толпу, что она начала пробиваться к ратуше.

На крыльцо с несколькими успокаивающими словами вышел Закревский, любимый народом, – но его тихую речь заглушили крики. Подтолкнули Килинского, который вовсе красноречивым не был, но слово из его уст шло прямо, понятно, доступно для всех сердец.

– Граждане свободной столицы! – восклицал он. – Послушайте меня – справедливость будете иметь, и это в самое короткое время, но вы нас выбрали, верьте же нам, спуститесь к нам... а сегодня идите спокойно по домам.

Он говорил долго и запинаясь, но уже под конец речи его начали заглушать. Плохой это был знак, когда любимого Килинского не хотели слушать. Юта стояла при мне, пожимая плечами.

– А вот тоже мысль, – проговорил она, – понаделать из них мучеников, чтобы позор на нас пал.

Признаюсь, что мне трудно тогда было её понять. Общее расположение было таким, что её речь даже для меня выдалась странной. Я приписывал её только более мягкому настрою, женскому...

Беспокойную женщину я проводил до дверей её дома, она подала мне руку, явно обескураженная и грустная.

– Мой милый Боже, – воскликнула она, обращаясь ко мне, голосом, в котором чувствовались слёзы, – я бы желала, чтобы наша революция была такой чистой, святой, незапятнанной, чтобы своих рук не замарала ничьей кровью... а тут злые люди толкают её на такое безумие... в котором уже никто не знает, что делает. Биться с неприятелем... а! Это чудесно, но грязь свою на виселицах вывесить перед светом... Всё-таки это братья... пусть бы их бросили куда-нибудь в ямы и темноту, чтобы мир имени их не вспоминал. Это мы, горожане, освободили Варшаву, я отомстила за смерть отца, Килинский стал героем – это наша кровь и наша слава... а хотят нас толкнуть на убийства, чтобы её потеряли – это жестоко... Иди, поручик, успокаивай... проси, пусть расходятся.

Она исчезла внутри дома... я не знал, что с собой делать, почти не думая, я пошёл улицами.

Хотя наступал вечер, толпы скорей увеличивались, чем рассеивались. Повсюду кто-то перед ними выступал и, насколько я мог расслышать, старался убедить, что правительство не оценит справедливости, что предатели имеют друзей, что роялисты их спасут, что им устроят побег, что для устрашения плохих нужен пример и что народ должен стоять на страже и не переставать требовать наказания, пока его не получит. Самое большое собрание окружало арсенал, не полагаясь на стражу и охрану, которые там стояли, опасались, чтобы узники не убежали. Тут также раздражение было наиболее жестоким, угрозы – наиболее дикими, рычание этого людского моря – наиболее пронизывающим. Имея знакомых военных при охране и сам будучи в мундире, я вошёл внутрь, чтобы что-то об этом проведать.

Тут представилось мне новое зрелище.

Значительное число русских военнопленных, видимо, генерал Милашевич и иные офицеры, забранные в ночь 18 апреля, находилось тут также запертыми. Можно себе представить испуг этих людей, слушающих издалека крики одичалого народа. Бледные лица выглядывали сквозь окна.

В минуты, когда на улицах наиболее запальчиво выкрикивали, я увидел нескольких мещан и военных, подступающих под окна русских узников, с которыми обходились с наибольшей человечностью, можно сказать, с эгоистичной вежливостью и пониманием их несчастного положения.

— Паны, — воскликнул в окна мещанин, — от имени тех, которые меня сопровождают, мы пришли сюда специально, чтобы вас успокоить. То, что вы слышите, этот шум и эта ярость, ничуть вас не касаются. Наши несчастные домашние дела с предателями родины окончены. Мы бились с вами на плацу, добиваясь принадлежащей нам свободы; вы исполнили солдатский долг, мы вас уважаем и не допустим, чтобы у кого-нибудь волос упал с головы. Ваша целостность есть нашей честью. Вы безоружные. Мы не имеем к вам ничего — не бойтесь и не тревожьтесь.

Русские повывлезали из окон, слушая, несколько подало нам руки — сцена была волнительная. Один из них сказал, что верит в честь поляков. Ему ответили криком... и так окончился эпизод этой ночи, памятной для меня.

Я побежал к моим старикам, дабы и их немного успокоить, так как чувствовал, что и они, должно быть, тревожатся. Помимо камергера, я застал некоего Дрогомирского, человека, ни занятия которого, ни состояния, ни убеждения я никогда узнать не мог. Он постоянно суетился, бывал всюду, говорил много, спрашивал ещё больше. Я считал его очень подозрительным, потому что показывался и исчезал. Знал несколько языков, ведал обо всём и знал весь свет и со всем светом был в хороших отношениях. Выдавал себя за какого-то купца, но чем именно торговал, никогда того не открывал. Была это фигура сухая, длинная, в немецкой одежде, с косичкой, скромно убранная. Манькевичи приглашали его охотно, потому что слухи им вытрясал, как из рукава.

Когда я показался на пороге, а практически целый день меня дома не было, все начали забрасывать вопросами.

Мне было нелегко отвечать.

Дрогомирский, которого после апрельских дней я встретил первый раз, начал меня поздравлять с ранами и мужеством — дедушка дополнил реляции.

Я дал им наивернейший отчёт о том, что видел и слышал.

Старик был испуганным, в его убеждении неразбериха должна была быть началом действий неприятеля, который, несомненно, ночью ей воспользуется, захватит и вырежет Варшаву. Если бы я над этим смеялся, Манькевич разгневался бы...

Начали спрашивать, расходится ли люд.

— Не думает, — сказал я, — множатся на улицах толпы и становятся всё более грозными... а когда раз пошло против предателей, а ночью все коровы чёрные, может достаться самым невинным.

Дрогомирский, казалось, сомневается в правде моих слов.

— Знаете, господа, что? — воскликнул он. — Уважаемый юноша немного горячо эти вещи судит и видит. Пойду я, ничего со мной не станет, рассмотрю положение и вернусь с реляцией, если вы скоро спать не пойдёте.

— А кто бы думал о сне! — крикнул Манькевич. — Хорош сон, когда под окнами такой вой, что до мозга костей проникает. Идите, ваша милость, и возвращайтесь...

Камергер остался. Тысячи эпизодов этого дня были на площади. Все согласились на то, что всю беду наделал слуга Анквича, который в миле от Варшавы подпалил набатный столб, рассчитывая на то, что в переполохе спасёт пана. Он, Ожаровский и иные имели приготовленных коней недалеко от арсенала.

Мы сидели так почти до полуночи, когда Дрогомирский вернулся — имел испуганную мину и бледное лицо. Сел, чтобы отдышаться.

Не скоро мы допросились от него новостей.

– На самом деле, – сказал он, подумав, – грозные вещи стоят. Люд блуждает по улицам, крики, вооружённые банды ходят... и вроде бы... вроде бы... но что же тут скрывать... ночью при факелах ставят виселицы.

Манькевич побледнел.

– Где? – спросил он.

– Две или три перед ратушей Старого города, протиснуться там было небезопасно одетому по-немецки, потому что там капоты правят, – говорил Дрогомирский, – одна точно под Бернардинами, её будет видно из замка.

От этих новостей все замолчали. Посидев ещё минуту, я пошёл поглядеть, что делалось. Мне не грозила никакая опасность.

Мундир и рука на перевязи достаточно меня защищали.

Эта весенняя ночь, которую мы на деревне не раз проводили, слушая соловьев и упиваясь ароматом лесов, в городе приняла зловещий характер.

Она совсем не была похожа на памятную мне ночь битвы, колоколов и грохота пушек. Город внешне был спокоен, а не спал... из верхних окон, иногда осторожно отворяемых, высывались тревожные головы, пытающиеся вслушаться в ропот и разглядеть темноту, из которой он выходил. Свет везде был погашен. Только из шинок вспыхивали красные зарева, на фоне которых появлялись какие-то чёрные грозные фигуры и трудные для распознавания. Иногда городские часы выбивали безжалостное время. Замок стоял чёрным, но около него явно ходила удвоенная стража, двор был полон городской гвардии. За толстыми занавесками окон мигали светлые полосы... никто там, верно, не спал.

В Краковском молчащая кучка окружала место, на котором ставили виселицы, а отголосок секиры среди ночи, обрабатывающей эти кладбищенские брёвна, разлегался трагично. Несколько факелов освещало эту погребальную сцену, более страшную тем, что ей вторил иногда пронимающий смех, какой-то оскорбляющий жизнь смех. Постояв здесь, я пошёл к ратуше. Тут было гораздо шумней. Во всех окнах светило, люди входили и выходили, карета Закревского стояла запряжённая. Вооружённая стража менялась. Под боком наивысшей Рады тут же собиралась толпа, тут же три виселицы, одна из которых из соснового белого дерева на тёмном фоне домов поднялась уже готовая к принятию виновников, даже кто-то на неё верёвку повесил, на котором не сразу я узнал задушенного пса, вращающегося вместе с верёвкой. На страже этих грозных лесов лежали, сидели, стояли толпами люди, каких редко в белый день увидишь. Были это, видно, собранные охотники до резни, некоторые подвыпившие, чёрные лица, загорелые, порванная одежда наброшена на плечи, чаще всего – только грубо плетённая рубашка. Некоторые тянули песенку. Иные бормотали что-то невразумительное и смеялись, указывая на ратушу.

В предсени я встретил задумчивого Килинского, который стоял и, как всегда, когда его что-нибудь раздражало, покручивал несчастный ус.

Несмотря на ночь, он узнал меня и взял за руку, он был гораздо менее уверен в себе, чем вчера.

– А что? – спросил я. – Вы не смогли их склонить, чтобы разошлись?

– Это напрасно, – шепнул потихоньку мастер, – уже и Закревский, и Мокроновский пробовали, народ должен иметь справедливость. Но что же вы хотите, – добавил он, – это потому, что ясно вельможные свободно продают родину и проходит им это безнаказанно. Я возвращаюсь из замка, – шепнул он мне, – я ходил, милостивый государь, в делегации, дабы успокоить наияснейшего. Никогда его таким не видел. Всегда, бывало, улыбается и радуется, а сегодня был как бы злой... только по-своему и страшно по-пански выглядел, а слова лились из его уст без остановки и глаза имел слезливые. Потому что это, сударь, всё приятели... самые лучшие были дружеские отношения.

– Вы говорили с королём? – спросил я.

– А как же! С уважением, но как следует... по-обывательски, – сказал Кишинский. – Когда я упомянул о предателях, наияснейший пан даже сказал мне: «Все у вас предатели... скоро мне скажите, что я тоже такой!» – и начал ко мне приставать, чтобы я использовал своё влияние на людей и старался их отвести от эксцессов. Затем я сказал ему: «Наияснейший пане, ваш замок хотя бы нашей грудью обороним, чтобы ваше величество не страдали, но что касается тех панов... я тут уже не могу ничего...»

Король заплакал...

* * *

Побродив по городу и тревожно посмотрев на виселицы, к которым прибили утром огромные таблицы с надписями: «*Наказание изменникам родины*», я потащился отдыхать домой. На улицах толпы людей, правда, немного поредели, но было видно, что наплывают другие. Виселицы охраняли стражи.

Едва я только задремал, меня разбудил белый ранний блеск весеннего дня, колокола звали на заутреню... я оделся и вышел.

Улицы были снова полны, все главным образом теснились вокруг ратуши. Вооружённая, приукрашенная национальная гвардия ждала у предсеней словно какое-нибудь торжественное событие. Я узнал, что собирался суд и что за арестантами должна была как раз идти гвардия, которая, построившись, с командиром впереди, двинулась. Народ всюду перед ней расступался. Увидев меня в толпе, старая Ваверская дала мне знак, чтобы вышел к ним, поскольку каменица стояла так, что из окон её всё было замечательно видно. Поэтому я охотно туда направился, потому что также хотел увидеть Юту.

Я нашёл её в комнате, вдалеке от окна с красными от плача глазами.

– Смотрите же, – обратилась старая Ваверская ко мне, – кто поймёт её? Как нужно было биться, летела почти в огонь, а теперь, когда народ хочет справедливость учинить, плачет и не может на это смотреть.

– Пани мастерова, – сказал я, – я этому не удивляюсь, грустный был вид... стыд и боль...

– А! Пусть негодяи висят! – махая рукой, воскликнула Ваверская. – Довольно карамелек наелись за московские деньги... Мне их жалеть?

Юта ничего не говорила, желая её отвлечь, я подошёл к ней, но она была рассеянная, печальная и погружённая в себе.

Мать же села у окна и так занялась видом, который был перед глазами, что оторваться от него не могла. Мимовольно вырывались из её уст слова и выкрики.

В обычный час гвардия отвела узников в ратушу. Только тут народ начал так тесниться и окружать её, что если бы я хотел выйти, не было возможности. Глядя сверху, видны были только шапки, головы, чубы, капюшоны и плечи той толпы, среди которого не на булавку не было свободного места. Глаза всех обратились на ратушу... царило глухое молчание...

Продолжалось это долгих четыре часа... только иногда прерываемых голосами, которые требовали наказания предателей.

Поздней мы узнали, что суд выступил, хотя с поспешностью, которой требовал народ, желая сохранить судебные формы и не дать ему самому себе отмерять справедливость, с полной уверенностью вины; издаёт декрет. Бумаги, найденные у Игельстрёма, свидетельствовали, что они брали деньги и что за них обязывались быть послушными приказам иностранного правительства. Их собственные подписи на квитанциях осудили их. Суд должен был выдать смертные приговоры всем.

С полудня всё двинулось на площадь и у ворот ратуши закипело... Окна были полны голов, люд на площади двигался как волна.

Признаюсь, что хоть не без какого-то отвращения и тревоги, я стоял рядом с Ваверской, чтобы что-то увидеть. Юта не двинулась со стула – смотрела дико, понуро на стену. В воротах сначала показался мужчина высокого роста, весьма красивой фигуры, панского, нежного лица, одетый в зелёный ватный кафтанчик, видно, как будто его после бессонной ночи из тюрьмы забрали... Шёл смелым шагом... к виселице... сам встал на лестницу и хотел что-то говорить. В эти минуты крик тысячи возмущённых людей заглушил его.

Юта закрыла глаза, я смотрел как ошеломлённый. Какое-то время он стоял наверху, спокойный, почти презрительным оком меряя толпу. Зрелище было действительно трагическое. Его величественная фигура не изменилась, не вздрогнула... достал из кармана светящуюся табакерку, взял понюшку, отдал её палачу и сам себе надел петлю.

Я не имел силы смотреть на экзекуцию двух других, которая прошла быстро – народ молчал, толпы стояли долго... но дикий первый окрик уже больше не повторился. Гробовое молчание, ропот... некоторые начали уходить. Вид смерти всегда волнует самых бесчувственных и беда тем, которых он распаляет.

Не знаю уже, как исполнили приговор над четвёртым узником, которого казнили напротив Бернардинов под замком... так что король из окон мог видеть до четырёх часов пополудни оставленное тело.

Король в этот день, по-видимому, выпросил не убивать епископа Масальского, что произошло позднее, в июне. Я не был свидетелем тех кровавых событий худших ещё, чем 9 мая, в Варшаве. Моя рука чудесно заживала, я нуждался в каком-нибудь занятии и результатом моей просьбы стало то, что меня выслали в лагерь начального Вождя.

Перед самым отъездом я пошёл попрощаться с Ютой. Уже тогда я не скрывал от себя, а, наверное, и она могла узнать по мне, что я сильно к ней привязался. Я никогда не говорил ей об этом. К чему бы это пригодилось? Сейчас я жениться не мог, а в бесцельной любви признаваться ей не смел. Кажется, что она меня также поняла. Мать, узнав меня лучше, не запрещала мне входить в дом. Положение моё в нём было странное, почти смешное, я был знакомым, приятелем, будто далёким родственником, не скрывали ничего передо мной, не говорили о будущем никогда. Узнав лучше Юту, я сумел её иначе, чем в первые минуты, оценить. Мать, у которой она была единственным ребёнком, усердно старалась о её образовании. Иного тогда девушке среднего положения дать было невозможно, как монастырского. Школ для женщин не было, французские женские училища не принимали детей мещан и купцов, потому что от этого портили бы себе шляхетскую клиентуру. Поэтому Юта ходила на обучение в монастырь, какое-то время даже в нём жила. Её ум там открылся. Позже родство с Греблем обеспечило дом книгами, она читала жадно, много, беспорядочно и всё это вместе складывалось, как могло, в её голове. Но благородный характер выбирал для своего использования то, что перепадало для его природы и расположения.

Из этих всех элементов и влияний создалось оригинальное существо, непохожее на других и, прежде всего, на то, что её окружало. В первых днях я не мог бы по ней понять, что она образована немного выше состояния девушки. Каждая иная этим бы образованием хвалилась – она почти скрывала его, так что только постепенно я изучал по той высшей простоте то, о чём знала и чего умела. Усиленно желая применить себя к своему свету, из которого должна была выйти, Юта прикрывалась такой обычной внешностью, чтобы легче выжить с достойной матерью и людьми, среди которых она должна была вращаться. Каково же было моё удивление, когда я не сразу узнал в ней другую Юту, старательно скрытую. Много тогда её чувство мне объяснилось. Раз выдав себя, потом не укрывалась передо мной. Несколько раз призналась мне, что доверием, какое ко мне имела, я был обязан тому, что никогда ей не говорил комплиментов и не вздыхал по ней.

Я, естественно, молчал, когда она это говорила, хотя в душе думал, что она вовсе меня не знала, потому что тогда я в неё очень горячо влюбился.

Но за то, что говорили глаза, она, казалось, не гневается, только устам было приказано молчание. В день выезда в лагерь начального Вождя, которому я вёз важные бумаги, я пошёл к Ваверским с прощанием. С неделю там не был. Юта меня встретила на пороге беспокойная.

– Что с вами стало? – спросила она доверчиво. – Если бы я не боялась напугать старых, спрашивая о вас, я бы уже пошла узнать о вас, потому что думала, что вы, пожалуй, больны.

Я сердечно её поблагодарил.

– Не хочу бывать чересчур часто, – сказал я, – чтобы слишком не привыкать к вам... а потом не тосковать как испорченный ребёнок.

Она посмотрела только на меня, как бы запрещая мне обычные сладости говорить... я должен был изменить тон на более весёлый.

– Я выбираюсь в дорогу, – добавил я.

– Куда?

– В лагерь Начальника.

– Вы счастливее, сначала – потому что поедете туда, где бьются... отсюда, где мы только спорить будем, а потом – что увидите человека, на которого вся Польша складывает надежды. Останетесь или вернётесь? – спросила она.

– Перед вами могу поведать то, – сказал я тихо, – что еду с бумагами. Вернусь ли с ответом или мне там прикажут остаться, не знаю.

– А когда вы едете? – спросила она.

– Сегодня ещё до ночи.

Наступило молчание, пришла Ваверская, которая за каждым моим появлением взяла себе за обязанность поить меня кофею.

– Поручик сегодня выезжает в свет! – сказала ей Юта.

– Что? Как? Надолго?

– Ничего не знаю, – ответил я, – но еду в войско.

– Но рука! – воскликнула мать.

– В дороге заживёт, – произнёс я.

Я был тут и теперь как дома, привыкший к этой скромной комнатке, а разговор с Ютой, могу сказать, услаждал мне жизнь. Однако же в эти минуты запал к бою, охота к действию, надежда увидеть Костюшку давали мне почти весёлость.

– Войска должны приблизиться к Варшаве, для её обороны, – отозвалась Юта, – то и вы с ними. Тогда, я надеюсь, навестите нас и не забудете о давней подруге.

Мы грустно расстались; теперь, не опасаясь ни меня, ни матери, она проводила меня до двери. В этот раз пошла также за мной, медленно, тревожно, однако, оглядываясь, смотрит ли мать.

Ваверская была занята уже хозяйством. У двери я взял её руку для поцелуя и поглядел в глаза, они были полны слёз, хотя улыбалась.

– Жаль мне вас, – проговорила она, – мы так по-братски привыкли друг к другу... не с кем будет поговорить и иногда... правда, жаль мне вас. Подумайте там иногда о Юте.

В эти минуты она сняла с шеи золотой крестик, который носила на бархатке, и втиснула его мне в руку.

– Крестик на дорогу! – сказала она, смеясь. – Не смейтесь над этим... крестик Господень многое припомнит... Христа, Евангелие, ближнего, милость к врагам... и ту, может, что крестик дала... искренне желаю вам счастья на той дороге и на всей дороге жизни...

Говоря это, она дала мне руку и убежала.

* * *

У Сируца, когда он это говорил, хоть у старого, навернулась слеза, но спустя минуту он продолжал дальше:

– Я добрался до лагеря Начальника после несчастной битвы под Шекоцинами, я нашёл его в Кельцах.

После нескольких выигранных битв мы везде были ослабленными для преодолевающих сил не одного, но всех трёх неприятелей, более или менее явно против нас выступающих. Пруссак уже вовсе не скрывали того, что хотели помогать русским. Их неожиданному появлению Костюшко был обязан проигранной Шекоцинской битвой, если эту битву годилось назвать проигранной. Кроме того, был под угрозой Краков, не везло иным отрядам. Сама страна, что заранее предвидел Костюшко, не отвечала отчаянному призыву встать под оружие все силы народа. Тянули, боялись, сомневались. Люд не был подготовлен, шляхта была напуганной.

Это первый раз революцию в Польше сделали мещане, а в войско наравне с шляхтой были призваны крестьяне. То, что делалось во Франции, бросало яркий свет на то, что происходило в Польше. Русские и их приятели постоянно кричали на якобинцев, на клубы, на новые принципы, противные всякому общественному порядку и религии. Игельстрём призыв крестьян к оружию называл нарушением собственности...

На подготовку такой революции, о какой мечтал политично образованный в Америке Костюшко, нужно было больше времени. Старый порядок видел солдата в шляхте, в крестьянине – свободного кормильца народа. Все классы поделены были и разбиты вековым положением, из которого в минуту по приказу выйти не могли. Поэтому Костюшко нашёл Польшу неприготовленной, а его республиканские понятия – фактически угрожающими равенству. Издавна кричали все люди, видящие опасность освобождения крестьян, тревожилась им шляхта и на эту жертву пойти не могла.

Отклонили с возмущением кодекс Замоиского потому только, что напоминал об освобождении одной трети части жителей деревни; конституция 3 мая робко коснулась вопроса о крестьянах, потому что иначе бы, несмотря на четырёхлетние пропаганды либеральных идей, не прошла. Голос Костюшки от имени родины взывал к народу, не смели ему противоречить, великая серьёзность имени, великая святость дела не допускали – но пассивное сопротивление стояло молчащим к приказам Начальника.

В лагере я нашёл хмурые, печальные лица... Опасались за Краков, боялись за Варшаву... Не усомнился ещё Костюшко и не настолько верил до конца, уже всё-таки чувствовал с какими великими, не только внешними, препятствиями ему придётся бороться. Я видел его первый раз в жизни, и когда Линовский ввёл меня в скромный шалаш из зелёных веток, который он занимал, сердце моё сильно билось. Я подошёл к нему с трепетом.

Я ожидал найти в Начальнике народа что-то величественное, геройское; я удивился, видя перед собой очень скромного человека среднего роста, лицо которого, только после того как взглядишься, поражало выражением доброты, чистоты, спокойствия, я сказал бы, правды... если можно так выразиться.

Ничего в нём не было избранного, успешного, рассчитанного. Стоял таким перед людьми, каким его сотворил Господь Бог. Некрасивые черты лица были милы и симпатичны, из глаз смотрели мужество и рассудительность.

Он был одет в серую сермяжку краковского кроя, длинные ботинки, холопскую шапочку и патронташ. Как раз возвратившись с осмотра войск, он опоясывал саблю, когда я вошёл. Шалаш, в котором он жил, поражал почти бедностью. В одном уголке – тесная кроватка с кожаной подушкой, а под ней – опустошённый узелочек, в другом – столик, собран-

ный на скорую руку, кажется, из ставни, а на нём – бумаги и карты. Другой подобный стол был как раз накрыт со спартанской простотой грубой скатертью, не выбеленной, и несколькими глиняными тарелками. Одна бутылка вина стояла рядом с графином с водой. Ни изящных адъютантов, ни службы при нём не было. Старый, с небритой бородой повар в белом фартуке, одновременно, по-видимому, и служащий, появился, ожидая приказов. Костюшко, прежде ещё чем вскрыл бумаги, начал расспрашивать меня о Варшаве. Увидел мою руку ещё на перевязи, узнал о ране и обнял меня, молчащего.

Говорил я сам мало... Линовский кидал мне вопросы один за другим, так, что я едва успел на них ответить.

О многих также вещах я был неосведомлён или знал только их внешнюю физиономию. Я был вынужден рассказать об экзекуции 9 мая, что о ней знал. Начальник мрачно молчал, переглянулись с Линовским, не говорили ничего.

Наконец, когда главнейшие предметы исчерпались, Костюшко велел подавать к столу. Трое военных, Линовский и я сели к этому скромному по-настоящему спартанскому пиру. Хлеб был с отрубями... суп принесли в большой потрескавшейся миске, потом польское белое отварное мясо, жаркое и блины. На десерт нашлась присланная кем-то земляника. Мы выпили по рюмке вина, наконец подали чёрный кофе.

Беседа за столом почти постоянно крутилась о пруссаках, об их вероломстве, о судьбе Варшавы. О короле почти не говорили. На протяжении всей этой войны, по правде говоря, отдавали ему все атрибуты, принадлежащие королевскому достоинству, но от всего его отстранили, деятельно не допускали ни к чему. Король пробовал иногда оказывать некоторое влияние и в итоге создал себе кружок, который разнообразными дорогами пытался подействовать на Начальника, на правительство. Всегда, однако, это несмелое, слабое воздействие не могло иметь великого значения.

Тут ещё надеялись на восстание более обширных размеров в стране, большего участия крестьян, более живого патриотизма шляхты. Линовский несколько раз спросил о Потоцком и Коллонтае, но я мало что мог о них поведать. Костюшко внимательно расспрашивал о Килинском и почти до слёз был взволнован, когда я ему поведал о приготовлении к восстанию под глазами и угрозой Игельстрёма.

Так для нас прошло время до вечера.

Каждую минуту подбегали офицеры, рапорты, а, наконец, и околичная шляхта пребывала поклониться Начальнику, привозя ему скромную денежную помощь для его казны и жестоко вздыхая, что её косарей и косы забирали на грустненький покос.

Старый шляхтич из околицы Керц, некий пан Белина, развлёк и опечалил Костюшку. Он приехал со старым венгерским вином и с убеждением.

– Наш возлюбленный Начальник! – воскликнул он громко. – Ради Христовых ран, что делаешь, этих хамов нам бунтуя. Или мы без них не обойдёмся! Эта угроза шляхетскому народу! Умеют ли владеть оружием! Коса! Коса – очень хорошая вещь на лугу, но на москалей – это шутики.

– Всё-таки под Рацлавицами хуже кнута боялись, чем сабли, – сказал Костюшко.

– Потому что ещё не узнали! – воскликнул Белина. – А самая худшая вещь – что холоп сразу становится гордым и его уже за ухо покрутить будет нельзя.

– Пане судья, – воскликнул Костюшко, – я возвратился из Америки, из страны по-настоящему республиканской, где, кроме негров, рабов нет и холопов нет, и шляхты также нет.

– Как же это может быть, – выкрикнул Белина, – чтобы где-нибудь на свете не было шляхты. Вот страна! Как же они там могут жить... promiscue... как быдло...

Офицеры смеялись, Белина говорил дальше.

– Уж в этом, возлюбленный Начальник, ты заблуждаешься, хамов не нужно было звать, потому что нет смысла! А шляхтичу рядом с ними стоять – *despekt*. Где это кто когда видел! Фу! Дальше и евреи пойдут.

– Я надеюсь! – воскликнул Костюшко. – И имею уверенность, что сформирую полк. Шляхтич онемел.

– Конец света! – воскликнул он спустя минуту. – Мы уже с вами друг друга не понимаем. Мы бы сами родину спасли, лишь бы только время дать.

– А почему же не идёте? – спросил вождь. – Прижимаетесь, пригоняете других, но станьте же огромной фалангой, какая мне необходима.

– Пускай бы после сбора урожая, тогда посмотрим, – сказал старый Белина. – Что до меня, то я и сегодня на коня сяду, но от меня утешение невеликое, у меня было два сына, оба пошли – что же больше хочешь?

Старина расплакался, а Костюшко его обнял. Не было смысла бороться с идеями, которые однажды могут измениться.

Вечером я узнал, что ночью Линовский с Начальником готовили мне ответы, а на следующий день я должен был вернуться в Варшаву.

Я пробовал напроситься тут на службу, Костюшко мне мягко ответил:

– Мой поручик, во-первых, ваша рука ещё не очень здорова, во-вторых, мне необходим кто-то, кто бы отвёз приказы, а раз уж вы проделали эту дорогу счастливо, то её и повторно проедете. Подождите, мы приближаемся к вам, постараюсь вас хорошо разместить, чтобы охотно угодить. И поклонитесь от меня достойному Килинскому.

Проспав в другом шалаше с офицерами от штаба на сене, где на нас ночью напал дождь и порядочно встряхнул, в восемь часов я получил бумаги и письма от Линовского, попросился с Начальником и помчался в Варшаву.

* * *

С разными, однако, приключениями, борясь по дороге, и вынужденный кружить, я вернулся только 10 июня. Уже в дороге я узнал о разных событиях в различных частях страны и для нас по большей части неблагоприятных; все три неприятеля были против нас, с тремя нужно было тереться с недостаточными силами, не имея времени их организовать; Варшаве грозила осада пруссаками.

Везде в первую минуту паники скапливались войска держав, нас окружающих, имеющих ресурсы намного превышающие наши; Польшу спасал только её патриотизм и жертвы, которые текли отовсюду охотно. Но и тех не могло хватить, потому что страна была поделена врагами, частично занята ими и коммуникации со столицей были затруднены.

Положение Кракова утомило и сконфузило всех. Я приехал как раз в эту минуту разочарования и отчаянья. Варшава показалась мне изменившейся. Физиономия её даже иначе мне теперь представилась.

Большая часть жителей, остыв от запала, жаловалась только и сомневалась, усматривая предателей и измену во всех. Люди подозревали самых невинных, родилось ненасытное желание мести и крови.

Никто не знал, что делать, метались, бросались, жаловались. Везде царил ужас... подозрительность его умножала. Едва прибыв, я забежал отдать бумаги в Раду, немного устно поведав о Начальнике, потом направился к моим Манькевичам. Приняли меня тут с распростёртыми объятиями и окриками радости – все один вопрос имели на устах: скоро ли прибудет Костюшко? В нём одном видели спасение. Каждый был любопытен что-нибудь о

нѣм услышать... не доверяли ни Коллонтаю, ни даже Потоцкому, ни любимому Закревскому, чудо спасения ждал каждый от героя из-под Рацлавиц.

Когда я начал о нѣм рассказывать, о его цинцинатовской простоте жизни и фигуры, о холопской одежде, не поняли как-то всей красоты и величия образа, который я нарисовал, удивлялись и даже отрицали, чтобы это полезным могло быть.

– Вождь, – воскликнул камергер, – должен поражать глаза толпы, иметь важность и величие, приказывать взглядом, нужно, чтобы его боялись по первому на него взгляду.

Манькевич также не верил в эффективность холопской помощи. Несмотря на это, они верили в гений Костюшки и в его добродетель. Инстинкт общества особенно в нѣм чувствовал и ценил тот идеал честности и правоты, непоколебимый характер, великую совесть.

Не один, может, в духе больше способности признавал за Потоцким и Коллонтаем, а, несмотря на это, силу характера над всеми ими нѣс Костюшко!

Каким же благородным было расположение народа, который в минуту наивысшей опасности больше доверял добродетели, чем даже гению!

Таковыми были общие чувства. Единично взятые люди думали по-разному и уже отсылались с разными критиками. Они были лёгкие, к сожалению, потому что никто справиться не мог с огромным количеством опасности, какая на нас упала.

Выходя от Манькевичей, я встретил моего Килинского. Он был измученный, похудевший, прибитый. Кармазиновая лента на плече (знак членов Рады и правительства) отягощала его. Обязанности превосходили его силы. Зная его влияние на мещан, его непрестанно упрекали в управлении ими, успокоении, удержании, перевоплощении.

Он пожал мне руку. Был это всегда тот же патриот, который 17 апреля вѣл безоружных людей на вражеские войска – но, действительно, легче было победить врага вооружѣнного, чем дух, который опасность пробудила в Варшаве. Бороться с ним было Геркулесовой задачей.

Килинский был бледный, нетерпеливый и почти гневный.

– Вы не знаете, пане поручик, – сказал он мне, – что тут у нас делается. Содом и Гоморра, говорю вам. Народ кипит, предателей полно, всё худшие новости. Нашего дорогого Костюшку не видать, дальше несчастного народа мы не удержим, как пойдѣт, как двинется, то и замка не обороним.

– Но это не спасѣт родины! – воскликнул я.

– А ну! Когда горе, он безумием напивается.

Минутами он усмехался, когда говорил о неприятеле и войне, но, вспоминая город, хмурился.

– Уж тут не обойдѣтся ещё без... авантюры... чересчур изменников стало. Люди говорят о сговорах с пруссаками, а пока здесь мы будем иметь недостойных, пока мы не уверены в себе, могут нас выдать в руки врагов.

Он начал мне перечислять подозрительных, начиная от примаса; я заткнул уши. Мы разошлись, ибо мне нужно было срочно к Юте. Спрашивать о ней я у него не смел. Постучав в дверь, я должен был долго под ней ждать; вместо матери или дочери, мне отворил слуга и объявил, что хозяйка вышла в город, а панна что-то была нездорова.

Я замешкался на пороге, потому что, хоть в мещанском бедном доме нет тех изобретательных форм, которые не позволяют навестить больного, я не знал, следует ли мне навязаться Юлке во время отсутствия матери. В эти минуты я заметил её саму, бледную и грустную, выглядывающую ко мне из третьей комнаты. Я вошёл уже, не спрашивая о разрешении. На её лицо набежал румянец.

– Что у вас? Болееете? – спросил я. – Но этого быть не может?

– А! Нет... да, мне немного нехорошо, – произнесла она тихо, – скажите мне, кому тут в такое время здорово и весело быть может? Все мы сидим будто на бочке пороха, которая каждую минуту может взлететь на воздух! Ежели не о себе, мы мучаемся за страну, за родину, за дорогой город! О себе тревожиться даже не годилось бы...

– Где пани Ваверская? – спросил я.

Юта долго смотрела на меня, прежде чем ответить.

– Достойная мать имеет много забот, – сказала она, – мне даже её жаль, я ни к чему непригодна, мужчины в доме нет, ремесло пропадает... не можем справиться.

Говоря это, она поглядела на меня и слеза тихо потекла из её глаз.

– Вот на эту беду, этот беспорядок, – добавила она, – не было иного спасения, как пожертвовать никому не нужной Ютой.

Я слушал, не понимая, она говорила дальше практически спокойно.

– Мать нужно освободить и помочь ей... вы знаете, что светится... вот панна Юта выходит замуж за простого челядника колёсного мастера, чтобы было кому вести дальше ремесло, потому что иначе мастерская пришла бы в упадок и бедная мать замучилась бы.

Правильная вещь, чтобы за столько родительских жертв ребёнок также отблагодарил послушанием.

Несомненно, что для меня в этом замужестве счастья не будет. Михалек, мой будущий, быть может, добрый парень, но неотёсанный, обтёсывать его уже не время, не поймёт он никогда Юты и Юта – его... но ремесло пойдёт дальше... колёсный мастер из него добрый и челядь удержит, и не запьёт...

Опустила глаза, вздыхая. Я, слушая эти признания, остолбенел, мне сделалось холодно, горячо, едва зажившая рана горела у меня как от железа, шумело в голове, темнело в глазах, охватывал гнев, злость и грусть.

Но какое же я имел право сказать хоть слово...

Она взглянула мне в глаза и должна была, наверное, прочитать в них всё, что я испытал, должна была понять, что мне закрывало уста.

– Ну, что же вы скажете на это? – шепнула она тихо.

– Мне ничего сказать нельзя, – сказал я тихо, – как я могу быть судьёй в этом деле или советником. Панна Юта, что я думаю, вы угадаете...

– Что хочешь, пан? Такая судьба! – отвечала она. – Не каждый может быть счастливым, но порядочным может быть каждый. Мать надо отблагодарить, это необходимо для её спокойствия. Скажу уже вам всё искренно, хотя я об этом только догадалась... мне кажется, что мама немного боится за меня... (смейтесь, пан), по вашей причине, и ускорит, может быть, женитьбу, думая, что вы мне из головы её выбьете...

Она не закончила...

Я был весь в огне.

– Мама нас подозревает, что мы любим друг друга.

– Мама угадала, – прервал я, – по крайней мере, в отношении меня, потому что...

– Тихо!! – воскликнула Юта. – О том ни слова, мы любим друг друга как брат и сестра, и так любить честно, свято, по-братски... мы можем до конца жизни, хотя я стану пани мастеровой... вы, может...

Я вскочил, как поражённый молнией.

– Могу поклясться всем самым святым, что никого не возьму, пока жив. Не могу вас иметь... не хочу иной.

– Клятва я не слушаю и не принимаю, – отозвалась Юта, – жизнь – долгая, требования её – жёсткие... Никто не может предвидеть своего будущего... мой поручик... ни слова о том...

Я сел молчаливый. О чём-то другом говорить уже не мог.

Юта мне погрозила.

– Достояна братская любовь, – сказала она, – не должна быть кислой и грустной... вы знаете, что Михалек всё-таки из сердца мне не вытеснит моего товарища по оружию... этого достаточно... и – тихо.

Подошедшая мать прервала эту грустную беседу, удивилась и нахмурилась, увидев меня, но вскоре как-то восстановила привычное настроение и с простотой, свойственной народному обычаю, спешила выбросить из сердца новость о сватовстве Юты с паном Михалем.

– Мы будем вас просить на свадьбу! – воскликнула она. – И это вскоре. Как только Варшава будет свободна от неприятеля, выдаю замуж Юту... уже время... парня ей выбрала достойного, доброго ремесленника и не без гроша, а, что важнее всего, что характер имеет добрый и работающий... и даже с лица ничего...

Старуха злобно рассмеялась, глядя на меня и на дочку, и подбоченилась.

– А что? А что? – спросил она. – Что вы на это скажете? Гм? Думаете, что я слепа и что не видела, что вам хочется к ней! Не хочу, чтобы вы меня напрасно баламутили и она...

– Мама, – прервала Юта.

– А ну, так! Так! – говорила старая. – Нечего в хлопок заворачивать!

Меня очень боднули слова пани мастеровой.

– Простите меня, пани, – отозвался я, – никогда ни словом, ни взглядом я не выдал того, что имел привязанность к вашей дочке, потому что собой не распоряжаюсь, не имею ничего, а имею родителей и семью, от которой завишу. Если бы был свободен... открыто старался бы о руке панны Юты...

Мастерова засмеялась, кивая головой во все стороны и по-прежнему для важности держа за бока.

– Всё это прекрасно, ладно! – сказала она. – Но, мой поручик, ты думаешь, что я не жила и света не видела. Ты сегодня любишь, готов на всё... но отдала бы я дочку на эту участь, которая бы её там ждала!! Тыкали бы в неё пальцем, как в мещанку и дочку ремесленника, кривили бы на неё носами шляхтинки, вам бы казалось, что ей милость делаете... а этого я не хочу! Кусочек хлеба по милости Божьей есть... тут она в доме пани и первая, там, пожалуй, была бы последняя. Тогда бы легко жизнь себе отравил и приписывал бы это жене, прошла бы, может, горячая любовь... а бедная Юта горько бы плакала. Я предпочитаю, чтобы она поплакала теперь, оттого, что ей немного жаль вас будет, но пусть имеет уверенную будущность. Значит, так, мой поручик, – прибавила она, – не гневайтесь на меня, я – мать, думаю о ребёнке... и что в сердце, то на языке.

Я встал со стула смешанный, желая как можно скорее уйти. Юта внимательно в меня всматривалась, желая узнать, гневаюсь ли я. Легко ей было прочесть по моему лицу, что я был грустный, смущённый, беспокойный, но не гневный. Простота и немного жёсткая искренность Ваверской разоружили меня... я страдал, однако же, и срочно мне было с этой болью и грустью как можно быстрее куда-нибудь скрыться от них.

Ваверская, посмотрев на меня, взглянув на дочку, от этого великого импульса внезапно остыла – жаль ей сделалось нас обоих. Если бы ей кто-нибудь противоречил, возмущался, она, несомненно, разгневалась бы и, раздражённая, не простила бы ни дочке, ни чужому – эта покорная сдача её воле смешала её. Согласно характеру и собственному понятию, было это для неё непонятным... Стояла она так, молчащая, как бы слишком далеко пустившись и не зная, что делать дальше. Начала кланяться и прощаться, желая уже уйти, и была бы она, наверное, рада тому, если бы не предвидела неприятной сцены с дочкой, взгляд которой обещал хоть мягкий выговор.

Задержала меня за руку.

– Я выпалила из-под сердца, просто старая баба, что языка не умеет удержать, но – мир! Теперь вы к нам, наверное, и носа не покажете, выпейте ещё кофе с нами и посидите, пока не остынете, чтобы от меня злым не уходить.

Она рассмеялась, глядя на меня. Я поблагодарил за кофе, старуха смолчала. Я попрощался с ней, не показывая травмы, подошёл поцеловать руку Юты, на что мать как-то очень беспокойно посмотрела, и, медленно шагая через комнату челяди, не глядя и не видя ничего, я достал до двери, которая за мной закрылась – словно этот порог я переступил в последний раз...

Мои господа, – сказал Сируц серьёзно, – было это первое в моей жизни глубокое чувство и, счастливым случаем, пробуждала его не гулящая девушка, но женщина, достойная привязанности и уважения. Могу сказать, что оно повлияло на всю мою жизнь. С этой горячей юношеской любовью, если бы я попал на иную, мог бы сам стать непостоянным – она сделала меня человеком и из юноши – мужчиной.

В этот день я не пошёл домой. Не хотел ни с кем встречаться, ни говорить, ни искать развлечений, побежал на берег Вислы, избегая людей, и, в самом грязном углу сев на кучи дерева на набережной, пробыл весь вечер. Моё собственное несчастье, которое я признать и показать стыдился, больше всего меня волновало... Город шумел там за мной, колокола били на Ангела Господня, солнце заходило... я не видел и не слышал ничего... был ошеломлённым... Пришла ночь и только холод и дрожь меня пробудили. Нужно было идти домой...

Добравшись до Краковского предместья, я услышал гул и волнение толпы, хорошо мне уже известные. Был это как раз тот памятный вечер семнадцатого июня...

В Краковском предместье что-то намечалось; возмущение было гораздо более серьёзным и страшным, чем в мае, того вечера по приезду короля.

Предвидя, что здесь готовится, я не хотел во второй раз быть свидетелем подобных сцен – убежал как можно быстрее домой... Не заходя даже к Манькевичам, я закрылся в моей комнате...

Но тут я также не мог найти отдыха.

Из города почти на протяжении всей ночи до меня доходили жестокие крики и грохот спешно летающих по городу карет и всадников. Ближе к утру, утомлённый, я едва мог вздремнуть. Не знаю, как долго я спал, когда меня разбудил стук в дверь, – был белый день, слуга деда звал меня, чтобы спустился вниз.

Я нашёл там несколько испуганных особ... я не знал ни о чём. Только от камергера, который почти потерял голос, я узнал о событиях дня и ночи. Одиннадцать виселиц стояло в городе, а на них сам народ вешал схваченных без суда виновных и невинных. Пьяная горсть предательски подстрекаемых людей, настоящий сброд, который найдётся в плохую годину в каждой столице, отпустил себе поводья, бунтуя формально против правительства и Рады, отбросив Килинского и едва силе характера Закревского давая, наконец, опомниться.

В конце концов, всё было окончено, власть восстановлена, но ужасные воспоминания этой людской слепоты и страстной справедливости остались, отчуждая от революции умы и сердца.

Упадок духа и тревога в городе были повсеместными. Менькевич ломал руки и хотел выезжать, но куда? В этот день пришли вести, что приближается Костюшко и что виновных в этом волнении не минует кара.

Более мелкие подстрекатели, по общему мнению, должно быть, были только инструментами людей, которые в подражании французской революции видели освобождение. Иные утверждали, что прусские эмиссары подтолкнули людей к этим сценам, чтобы сделать революцию отвратительной и дать повод мучиться из-за неё.

Состояние города делало жизнь в нём тяжелой, душной и невыносимой. На завтра после тяжёлого дня, поскольку моя рука ещё не позволяла примкнуть к войску, подхватил

меня Кишинский, чтобы я помог ему организовать польскую гвардию, и взял меня с собой на весь этот день, уговаривая даже на последующие, пока бы я деятельной службы не знал.

Я должен был с ним пойти в замок и в первый раз с давних пор очутился среди королевской резиденции, которую теперь мне трудно было узнать, потому что я её совсем иной ещё при Тарговице помнил.

Более грустной картины представить себе трудно. Замок почти весь день был пустым, большие залы закрыты, служба – уменьшенная, король – скрытый в кабинете, окружённый несколькими женщинами и семьёй. Из камергеров, пажей, адъютантов осталось едва несколько.

На лицах всех рисовалась молчаливая тревога, слова трудно было допроситься. Всё, казалось, ждёт какого-то избавления.

Я был хладнокровным, когда Кишинский, попросив короля об аудиенции, пришёл ему объявить, что город уже спокоен, что бояться нечего и может доверять своему верному мещанству, которое никогда от него не отступит.

Король Станислав, лицо которого казалось мне страшно постаревшим и как бы застывшим от боли, вышел в шлафроке, молчащий, оглядываясь, напрасно пытаясь показать себя паном.

Речь Кишинского, очень простая, но горячая, потому что это был сердечный человек, взволновала короля, он проговорил несколько слов благодарности, смущённый, оглядываясь, слушая как бы... Под веками чувствовались удерживаемые слёзы.

В эти минуты я забыл вины и ошибки этого царствования, человека мне искренне было жаль. Когда приём окончился, вздохнув, словно после тяжёлой работы, король быстро ушёл в кабинет.

* * *

Мы вышли с Кишинским из покоев и я с ним вместе должен был заниматься уже этой гвардией безопасности, когда неожиданно в первый раз заметил воеводу Неселовского. Я даже не знал о пребывании его в Варшаве, а тем менее о том, что его назначили к судам.

Неселовский узнал меня.

– Сируц, – воскликнул он, – я тебя давно ищу и расспросить не могу... ради Бога, ты нужен мне... где ты был?

Я отвечал ему, что был выслан к Костюшки. Тогда я должен был попрощаться с Кишинским и сесть с воеводой, который ехал из замка домой. Всё время дороги он был хмурый и молчаливый. Спросил меня о Костюшки и, не знаю, услышал ли мой ответ, потому что снова весь погрузился в мысль.

Наконец карета остановилась перед дворцом, мы вошли с ним в покои. О моих перипетиях в первые дни апреля воевода был осведомлён, я не нуждался в исповеди перед ним. Я знал его как горячего патриота, в эти минуты я нашёл его странно уставшим и грустным от оборота дела.

– Садись, Сируц, – сказал он, – у меня столько на сердце, что нужно выговориться. Человек голову теряет и не знает, что делать.

Он заломил руки.

– Плохо, – произнёс он, – безумцы взяли всё в руки и самое прекрасное дело они пятнают и портят. После того бедолаги Вульферици никто неуверен в жизни... Крикнет служащий, что вчера сбежал, на своего пана, что предатель, тогда его на биче вешают.

– Всё же это усмирилось, – сказал я, – и новых беспорядков нечего бояться.

Неселовский болезненно усмехнулся.

– Раз попробовали, – сказал он, – раз сделали... не уважали священников...

– Но это были явные предатели, – прервал я.

– Да, это правда, – отпарировал он, – тем более нужно было их справедливости отдать, не замучить их без суда. Я содрогаюсь на это, – добавил он, – я уверен, что Костюшко возмутится, что это дело прусских эмиссаров, которые нас якобинцами хотят иметь, чтобы осудить.

Говоря это, он схватил меня за руку и посмотрел в глаза.

– Сируц, – воскликнул он, – ты знаешь меня. Я люблю Польшу больше жизни! Нужно её защитить от стыда и позора, нужно отсюда вырвать короля и примаса... потому что... потому что я за их жизнь не ручаюсь.

Я побледнел, услышав эти слова.

– В таком случае, – сказал я, – пруссаки и русские нападут на город и в пепелище его обратят.

– Дитя моё! Если могли бы, наверное, их ни король, ни примас не остановят... Впрочем, их обоих нужно вывести не куда-нибудь, а в лагерь Костюшки.

Я молчал.

– Для этого нам нужно несколько энергичных людей, на которых не пало бы никакое подозрение... Я подумал о тебе.

Моё сердце сжалось... я не имел ни охоты, ни способности для такого предприятия, я отвечал, что не чувствую сил.

Воевода походил, задумчивый, по зале и вернулся ко мне.

– Не сил тебе не хватает, а убеждения, – сказал он, – я тебе повторяю, что народу нужно спасти короля. Падёт на него пятно, какого во всех его делах нет. Я никогда не принадлежал к придворным короля, но отдал бы жизнь, чтобы его спасти. Послужишь родине, Костюшко тебя сам поблагодарит, толпы возбуждённые, я знаю, что готовится, чем угрожают. Ты должен помочь...

Довольно много времени потребовалось воеводе, чтобы меня склонить; я, наконец, подчинился его просьбам и рассуждениям. Он требовал от меня слова и клятвы, я дал то и другое, он обнял меня, снял с пальца гербовый перстень и сказал:

– Иди с ним в замок, отчитайся королю и будь осторожен. Вещи немного приготовлены... не хватает людей...

Как пьяный я вышел от воеводы, неохотно направляясь к замку.

Мне рассказали, через какие двери, каким коридором и к кому мне надо направиться. Час был послеобеденный. В замке было пусто, на лестнице – ни живой души, в приёмной зала аудиенций сидела гвардия и депутаты города, которые стерегли короля. Рыкс меня к нему впустил, сначала поведав, с чем и к кому я пришёл.

В минуту, когда я входил, пожилая женщина, одетая в чёрное, важной фигуры, немного похожая на короля, встала с канапе и, посмотрев на меня, удалилась в боковой покой.

С обычной для него вежливостью и улыбкой, которые ему трудно было найти, подошёл ко мне король.

Голос его дрожал. Расспросил меня, кто я был, где служил, заговорил о семье Сируцов и о её прошлом на Литве, с особенной памятью прикатил несколько наших родов, осведомил меня, что с полным доверием примет мою помощь, и приказал мне направиться за Рыксом, возвращая перстень Неселовского.

Во всей фигуре короля и его речи чувствовались притормаживаемые тревога и грусть, наименьший шелест сдерживал его, выкрик с улицы покрывал бледностью лицо, беспокойный, он выглядывал из окна.

Когда, поцеловав поданную мне руку, я вышел, Рыкс попросил меня, чтобы я шёл за ним. Молча он ввёл меня в тёмные коридоры, потом через несколько пустых покоев, гале-

рею, лестницы и почти на чердаке, доведя меня до дверцы, в которую постучал, опередил меня сам, а потом впустил.

В маленькой комнатке я нашёл трёх особ, совсем мне не знакомых.

Одна из них была в духовной одежде, две другие, одетые по-граждански, имели военную фигуру.

Было уже довольно темно, так что их лиц я хорошо разглядеть не мог. Они молча меня приветствовали, я сказал им несколько слов.

Ксендз встал с канапе.

– Стало быть, ты знаешь, пан, – сказал он, – о чём речь, следует спасти короля! Ты что-нибудь, пан, уже обдумал?

– Я ни времени не имею, ни достаточного знакомства с положением, чтобы мог какой-нибудь план создать, едва могу быть полезным в его выполнении.

Они переглянулись между собой, один сказал:

– Нужно спешить, каждый час дорог, горожане якобы стерегут короля для его безопасности, но как живо, скорее, что бы не ушёл. Тогда первая трудность: как их усыпить...

Ксендз проговорил:

– Это наименьшая вещь, им дают ужин, нужно, чтобы кто-то напоил их, тогда поспят, а они и так уставшие.

– Пусть и так будет, – добавил третий, – главная вещь: как вывести короля.

– Чтобы вывести днём, об этом даже нечего думать, – сказал я, – ночью, только ночью. Выйти из замка – ничто... но что дальше?

– Да, – воскликнул старший возрастом. – Всю ночь патрули ходят, избежать их почти невозможно... узнают.

– А рекой? – бросил я вопрос.

На минуту замолчали.

– Нужно бы убедиться, охраняемы ли берега и сильная ли при них стража. Действительно, лодку можно пустить за город, а у берега приготовить карету и с ним уже двинуться в леса, может, не было бы трудно.

– Не знаю, изучал ли кто берега! – сказал ксендз. – Нужно бы немедленно это устроить. Завтрашнего дня едва хватит, чтобы стараться о хорошей лодке и верных гребцах, а протянуться дольше завтрашнего дня – невозможно. Кто из вас как-нибудь знает местность?

Один из собравшихся встал.

– Я пойду, – сказал он, – но один бы не рад.

– Я вас буду сопровождать, – отозвался я.

– Мы вернёмся, как только будет с чем вернуться, – добавил мой товарищ.

В потёмках с его помощью мы спустились уже по другой лестнице в замковый двор, а из него в сад. Идущий со мной имел ключ от калитки. Вслушавшись в молчание и убеждённые, что нам тут ничего не угрожает, мы начали спускаться к Висле. Нас закрывали густые кусты, среди которых мой проводник с хорошим знанием местности умел ориентироваться. Так не спеша мы передвигались, когда снизу до нас дошли голоса – мы были вынуждены остановиться. Мой товарищ сильно схватил меня за руку, мы остановились как вкопанные. Не далее как в десяти шагах от нас прохаживались две тени почти у самой реки. Слева мы могли заметить две другие, которые стояли неподвижно.

Сперва мы услышали приглушённый смех, а потом отчётливый разговор.

– А что, пане Каспр? Хорошая прогулка ночью у Вислы? Гм! Не предпочёл бы ты в перине лежать... храпеть?

– Предпочёл бы, конечно, но служба службой, а у нас на сердце, чтобы он от нас не вырвался.

– А куда бы он убежал?

– К приятелям русских! Верь, пан, если бы его не стерегли, не угрожали, не просили и не дали понять, чтобы прекратил прогулки, уж его не было бы...

– Баба с воза – колёсам легче...

– Нельзя это позволить... Тогда только до Вислы... уж его любой рыбак бы перевёз.

Разговор прервался. Стражи издали потихоньку перекликались, но очевидная была вещь, что о том, чтобы выбраться на челне, мы уже думать не могли. Наша экспедиция была окончена. Потихоньку мы вернулись из неё, быстрее, нежели нас ожидали.

– Берег Вислы усеян стражей, – сказал мой товарищ, – нечего и думать.

Некоторое время царило понурое молчание.

– А поэтому, – сказал духовный, – иного спасения уже не вижу, вечером нужно прокрасться в каменицу около коллегиата. Там мы приготовим духовное одеяние... самую лучшую одежду бернардинца или капуцина. Мальчик впереди будет звонить, как бы шёл ксендз с Господом Богом... Это безопасней всего. Никто из людей не зацепит и лица под капюшоном никто не разглядит.

Другие молчали, противоречий не было, меня спросили – я сказал, что это может быть хорошим, но не очень, а заранее следует подумать о конях, чтобы, достигнув их, бежать дальше.

Мы ещё так разговаривали, когда услышали на лестнице быстрый бег, и один из оставшихся королевских пажей вбежал, неизмерно смешанный. Ксендз встал со стула и немедленно с ним удалился... Произошло, видимо, что-то неожиданное и несчастливое. Сколько нас там было, мы ждали в молчании, что нам прикажут и что нам делать дальше.

Не прошло получаса, вошёл бледный ксендз, шатаясь, и упал на софу, закрывая глаза.

– Все мы тут друзья короля и слуги его, – воскликнул он. – Тайн иметь не можем. Возвращаюсь от наияснейшего пана... великое несчастье. Воевода в эти минуты даёт знать, что изъято письмо ксендза примаса... письмо, которое его жестоким образом обвиняет в глазах революции. Поэтому эта чернь осмелилась перед дворцом примаса поставить виселицу. Дали знать королю... примасу угрожают судом и позорной смертью Коссаковского и Массальского... примаса спасти нужно... завтра может быть слишком поздно. Письмо задержано, но уничтоженным быть не может. Отсрочили распечатывание... примаса спасти нужно... а тут из нас ни один не может даже выйти из замка и приблизиться к дворцу примаса, чтобы узанным не был...

Он поглядел на меня, я поднялся.

– Если нужно, я пойду, – сказал я.

– Иди, – воскликнул ксендз, – пойдём со мной к королю.

Мы снова спустились по лестнице, коридорами, ступая на цыпочках, дошли аж до двери кабинета, в котором слышен был плач.

Все были так испуганы, взволнованы, что никто не удивился, когда меня, незнакомца, впустили в кабинет. Король со сложенными как для молитвы руками стоял на коленях перед распятием, бывшим на столе, но молиться не мог, глаза были сухие, губы бледные. На канapé рядом рыдала гетманова Браницкая, рядом с ней – потрясённая пани Замоиская с заломанными руками казалась умирающей. На полу – её дочка, пани Мнишкова, как упала, видно, так, положив голову на колени матери, осталась, не в состоянии уже двинуться. В дверях стоял бледный и с тёмными своими волосами кажущийся белым как снег князь Ёзеф со скрещёнными на груди руками.

Когда я вошёл, король не обернулся... никто не смотрел; ксендз, который меня сопровождал, немного дотронулся до стоящего на коленях, который весь содрогнулся и посмотрел на нас.

– Этот пойдёт, – сказал ксендз.

Король встал, постепенно приходя в себя. В руках держал уже, видно, готовую бумагу и маленькую коробочку. Рука его дрожала лихорадочными движениями.

– Честью и Богом заклиная тебя, иди, старайся протиснуться незамеченным. Камердинеру или капеллану скажи – от меня! В руки, в собственные руки отдай примасу и – вернись, если сможешь...

Говоря это, он втиснул мне запечатанную бумагу и коробочку.

– Ради Бога, не дайся им в руки, не отдай содержимое... осторожность, благоразумие, буду тебе благодарен. Может, когда придёт время, если доживём, сумею выплатить тебе долг за эту услугу. Очень обяжешь меня... Иди – возвращайся!

Король поцеловал меня в голову и оттолкнул. В те же минуты гетманова начала ещё громче плакать, рыдание пани Мнишковой вторило ей, князь Ёзеф исчез за дверью. Мне отворили кабинет и я оказался с Рыксом в передней. Один я никогда бы не попал к воротам... Тут внутри я заметил уже городскую гвардию, но горожане этим утром видели меня с Килинским, я не боялся, что меня задержат. Я шёл смело. Один из горожан крикнул: «Стой!» Меня отвели под горящий в нескольких шагах фонарь. Я начал смеяться. Стража узнала меня, потому что столяра Дубского я лично хорошо знал и с утра разговаривал с ним.

– А что вы, поручик, тут делаете ночью? – спросил он.

Я похлопал его по плечу.

– Вы не должны меня допрашивать, я был послан посмотреть, что у вас делается, но вижу, что всё в порядке, и не спите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.